ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ



ДНЕВНЫЕ ЗВЕЗДЫ



ДНЕВНЫЕ ЗВЕЗДЫ
ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ

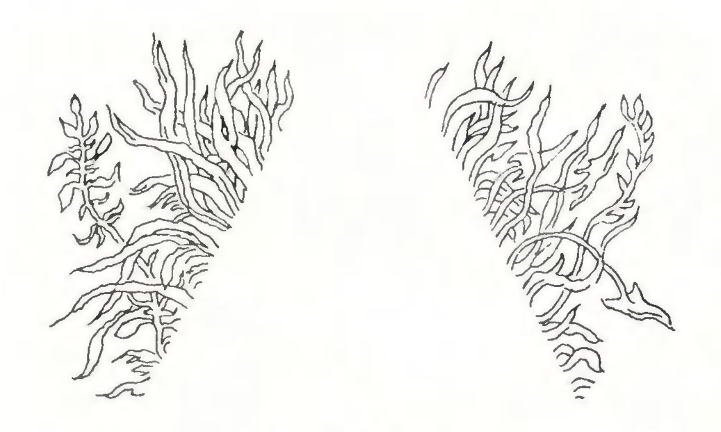




Москва · 1975 г.

ОЛЬГА
БЕРГГОЛЬЦ

ДНЕВНЫЕ ЗВЕЗДЫ



Поездка в Город Детства





Сон

У каждого человека, наверное, есть один, самый любимый и самый счастливый, всю жизнь повторяющийся сон. Его невозможно вызвать, упросить, чтобы пришел: он приходит сам, когда захочет. Он может исчезнуть и на целые годы, но потом обязательно вернется и щедро одарит вас той же радостью.

Есть такой сон и у меня: мне снится город детства — Углич, куда мать увезла сестру и меня из Петрограда в 1918 году и где прожили мы почти два с половиной года, пока отец далеко на юге воевал с белыми. Мы жили то на одной, то на другой улице в разных домах, но дольше всего по ордеру горкоммуны в келье Богоявленского девичьего монастыря; это было наше последнее жилье в Угличе. Наш корпус был самым дальним, угловым, он стоял в конце монастырской стены, близ дремучего садика, над глубоким, притаившимся под огромными липами прудом, а в школу мы иногда ходили не по улице, а по темному коридору в толстой каменной монастырской стене. Ходить по этому коридору было страшно, зато в оттепель не промокали валенки. А школа помещалась в том же монастыре, на другом конце, в красном кирпичном здании, которое раньше называлось «покоями» и стояло прямо напротив высокого белого собора с пятью синими главами, и главы были усыпаны крупными золотыми звездами.

Мы прожили в келье лето, осень и зиму,— главное, зиму двадцатого года... Ух, какие это были медленные, ледяные вечера, с вонючей слепой коптилкой, с грозным ревом близких монастырских колоколов, с горючей тоской о Петрограде! Мама говорила, что увезла нас из Петрограда для того, чтобы мы не умерли там с голоду; но мы помнили, что два года назад в Петрограде мы ели лучше, чем теперь, что там бывала даже колбаса, а в нашей столовой горела висячая лампа с абажуром. Мы вспоминали эту лампу, как живого, любимого человека, и нам все казалось, что она и сейчас горит в Петрограде, хотя мама говорила, что дедушка, бабушка и няня Авдотья тоже давно сидят с коптилкой, а едят еще хуже, чем мы: у нас хоть дуранда есть, вобла бывает и много овсяных высевок, из которых можно варить кисель, а там... и она замолкала. Но невозможно было поверить, что во всех, во всех городах, и в особенности в милом Петрограде, так же голодно, холодно и темно, как у нас в келье. Нет, лампа в петроградском доме, наверное, все-таки горела... А мама по вечерам уходила в нашу школу на работу, в ликбез, где старухи учились читать, как маленькие, и мы оставались одни, запертые в сводчатой морозной келье. Угрожающе ревели колокола, чернели полукруглые окна, поблизости было кладбище с могилами каких-то старцев; монашенки, дежурившие в нашей школе, говорили, что старцы иногда зачем-то «встают из могил», и если б не Тузик — рыжая голодная собака, приставшая к нам в эту зиму,— то было бы совсем страшно. Как хорошо, что мы уговорили маму взять собаку в келью и потихоньку делились с нею скудной своей едой: она отвечала нам глубокой любовью, она ревниво оберегала нас. Закутавшись в одеяла, придвинув смердящую коптилку к самым книгам, страшась, что коптилка может потухнуть, и потому почти не дыша (мать оставляла нам на всякий случай одну спичку из своего запаса) мы учили уроки, а Тузик сидел прямо против двери, воинственно навострив рыжие треугольные уши, готовый в любую минуту броситься на старцев, если они вдруг встанут из могил и будут сюда ломиться.

Один раз все-таки, тяжело вздохнув, Муська загасила коптилку. Единственная спичка сломалась у меня в руке, и головку ее мы, конечно, не нашли. Мы оцепенели от ужаса, от внезапной тьмы.

— Теперь мы умрем,— басом сказала Муська.

— Ничего,— прошептала я,— скоро вернется мама. Это звонят ко всенощной, значит, урок в ликбезе уже кончился. Ведь старухам ко всенощной надо...

Но мне было еще страшнее, чем сестренке.

Тузик подошел к нам и, положив лапы мне на колени, деловито облизал наши лица. Язык у него был шершавый, горячий, от него пахну́ло теплом. Он держался как самый старший в доме.

— Скоро весна,— сказала я.— Мы опять пойдем в лес... на субботник... собирать ландыши для аптеки и шишки для электростанции. Тебе хочется в лес, Муська?

— Я хочу в Петроград,— ответила она тем же грустным басом.

— Это все из-за Колчака,— пояснила я,— нам в классе говорили! И голод, и все, все...

И сладкая судорога ненависти сдавила мне горло.

Мы замолчали. А в келье было уже не так темно, как в первую минуту, когда погасла коптилка и сломалась спичка: смутно стали видны контуры лежанки, подушки на кровати и кадка с водой: то полукруглые окошки, чудесно посветлев, лили в келью снежный, лунный, грустный свет глубокой зимы.

Так мы вместе с Тузиком коротали зиму, встречали милую волжскую весну, ждали папу, ждали конца войны и возвращения в Петроград, к родным, к хлебу, к светлой висячей лампе.

...И вот, уже в молодости, в тридцатых годах, темное, бедственное жилье времен детства и гражданской войны — эта келья, этот угол монастырского двора с могучими липами и, главное, высокий, белый пятиглавый собор напротив школы,— все это стало мне почему-то сниться как место чистейшего, торжествующего, окончательного счастья.

Мне снилось: я попала в Углич и иду по длинной, широкой, заросшей мелкой зеленой травкой улице; и иду я не то на раннем рассвете, когда сумрак переходит в свет, не то поздним, но светлым вечером, переходящим в ночь,

потому что не только небо, но весь воздух и даже дома и деревья, окруженные им, трепетно излучают какой-то серебристо-молочный свет, чуть с голубизной — там, наверху. И вот я иду по зеленоватой, мерцающей улице, а вдали тоже мерцает и светится белая громада собора. Мне обязательно нужно дойти до него, потому что за ним — наша школа и садик, а в садике похлопывают и шумят всеми своими круглыми, как бы жестяными, звонкими листиками огромные липы, и я знаю, что когда дойду до собора, до лип — наступит удивительное, мгновенное, полное счастье. И я кружу по странно сумеречным улицам, и собор все ближе, все ярче, и все нарастает и нарастает во мне предчувствие счастья, все сильнее дрожит и трепещет внутри что-то прекрасное, сверкающее, почти режущее, и все ближе собор, и вдруг — конец: просыпаюсь! Так и не удалось мне за долгие-долгие годы дойти — во сне до «своего собора». И с тех пор как мы уехали из Углича, прошло тридцать два года.

В прошлом году я решила поехать в Углич и обязательно наяву дойти до собора, до школы, до того трепетного счастья, которое столько лет снилось. Мне это очень нужно было. Но прежде чем рассказать об этом, надо рассказать еще о том, как мы возвращались в Петроград. Я помню наш обратный путь в Петроград не мертвой памятью, знающей, что то-то и то-то было, имело место, но живой памятью ощущения тогдашних событий и собственных чувств. Той памятью, которая связывает отдельные воспоминания в цельную, единую жизнь, ничему не давая отмереть, но оставляя все вечно живым, сегодняшним. Такая память, говорят, есть наказание или благо человека, а может быть, то и другое вместе. Но если б она была только наказанием, я все равно не отказалась бы от нее.

Папа приехал

Мне было десять лет, а сестре восемь, когда однажды утром я проснулась и вдруг увидела, что какой-то военный стоит посредине кельи, спиной к нашей кровати. Его красноармейская шинель была нараспашку, в правой руке

он держал мешок, а левой обнял маму и, быстро похлопывая ее по плечу, говорил негромко:

— Ну, ничего, ничего...

Невероятная догадка озарила меня.

— Муська,— закричала я,— вставай! Война кончилась! Папа приехал!

Тут папа обернулся, шагнул к нашей кровати, и мы оцепенели от страха: голова у него была бритая, лицо худое, темное и без усиков, а мы знали, что он должен быть с красивыми усиками и волнистыми волосами: мы почти семь лет — с тех пор как он ушел на войну еще с германским царем Вильгельмом — знали его по студенческому портрету и давно забыли, какой он — живой.

— Вы,— наш папа? — вежливо спросила Муська.

— Ну да,— ответил он и в шинели сел на край кровати; от него пахло незнакомо: сукном, махоркой, дымом,— пахло войной и папой. Он тоже, наверное, не узнавал нас и не знал, что с нами делать; он осторожно левой рукой потрогал сперва мою макушку, потом Муськину, а в правой руке все держал и держал свой мешок: ведь он ехал издалека, с войны, и, наверное, все время так держал мешок, чтоб его не украли мародеры или спекулянты. Мать наконец взяла мешок у него из рук и сказала:

— Ну, поцелуй же ребят...

Но папа не поцеловал нас.

— Вынь им сахару,— сказал он, пристально глядя на Муську.

Мы впервые за последние три года ели сахар, свирепо хрустя и захлебываясь, и все смотрели на нашего папу и привыкали к нему.

— Папа,— спросила я,— голодное время тоже кончилось? Да, папа?

Мне хотелось говорить слово «папа» все время.

— Кончилось,— ответил он.

— И мы поедем в Петроград, папа?

— Ну конечно. Я же за вами приехал.

— Скоро, папа?

— Через три дня.

Мы завизжали и захлопали в ладоши,— они были липкими от сахара и склеивались. Папа в первый раз улыбнулся — он уже немножко привык к нам — и вдруг стал похож на свой студенческий портрет.

— А пароходы по Волге не ходят! — воскликнула Муська. Она была упрямой, она была скептиком и не верила всему этому счастью.— Как же мы?

— А мы прямо на лодке поедем. На большущей такой, знаете? До станции Волга. А оттуда — тук-тук — поездом прямо до Питера.

Он засмеялся, и мы засмеялись и задохнулись от восторга, с обожанием глядя на папу.

И сборы в Петроград начались на другой же день. Незнакомые мужики принесли прямо в келью большие фанерные ящики и свертки рогожи, и к запаху папы присоединился запах путешествия, отъезда — щемящий запах свежего дерева, воздуха и рогожи. Мы сразу полюбили эти новые, недомашние вещи: забрались в ящики и посидели в них, завернулись в рогожи и походили так по комнате, и папа строго прикрикнул, чтобы мы перестали безобразничать. Нам и это было приятно, потому что означало, что папа с нами не просто так, а уж действительно как настоящий папа, и вообще все на самом деле, потому что он еще прибавил:

— Лучше бы собирали, что в Питер взять!

Мы бросились разбирать наше небогатое детское хозяйство, книжки и игрушки, и вдруг почти все, что еще вчера радовало и было любимо, оказалось недостойным Петрограда: солдаты из чурочек, цветные черепки и большая деревянная ложка, запеленатая в тряпки, которую мы называли «маленький Ванька».

Мы, конечно, забирали Мишку с одним пуговичным глазом и продавленным животом,— ведь Мишка был еще петроградский, он приехал в Углич вместе с нами, а черепки, солдат и «маленького Ваньку» решили оставить здесь.

— А старичка возьмем? — шепотом спросила сестра.

Я тоже перешла на шепот.

— Старичка — да!

И, бросив сборы, мы побежали за нашим старичком.

Мы нашли его ранней весной в монастырском саду, среди еще голых кустов шиповника: он сидел на корточках, горбатенький, темный, опустив корявые ручки до самой земли, неестественно повернув вправо сердитое, задумчивое личико с острой бородкой. Подкравшись поближе, мы увидели, что старичок не настоящий, не живой, а этакий необыкновенный древесный корень. То есть на

самом-то деле он, конечно, был живой и только перед нами, перед людьми, замирал и прикидывался корнем, и мы поняли его хитрость.

Мы устроили старичку дом под маленькой, но удивительно густой и угрюмой елкой, похожей на шатер (ведь старичка нельзя было тащить домой, это же была не игрушка, а житель иного, недоступного для людей мира), и старичок жил под елкой, как в капище, в тишине и тайне. Малюсенькие кусочки хлеба, которые мы ему оставляли, он съедал и воду из крышки от банки выпивал, но, конечно, не при нас. И никто, кроме нас, не знал о старичке и его таинственной жизни, да и нам ни разу не удалось подсмотреть ее, хоть мы очень старались. Но мы догадывались обо всем! Мы даже рассказывали друг другу, как наш старичок ночью бегает по саду и все трогает своими корявыми ручками, а иногда зачем-то выкапывает ямки. А бегает он, как ступка, переваливаясь с боку на бок, ведь ног-то у него нет! И так было интересно и жутко верить этому, и мы побаивались даже нашего старичка и очень любили его.

Мы захватили с собой старую клетчатую тряпку и благоговейно, немного страшась, вытащили старичка из-под елки. Заглянув в его опустевшее капище, я еще раз убедилась, что мы уезжаем в Петроград. А старичок был безучастен, горбатенький и темный, он думал о чем-то своем, и неестественно повернутое личико его было, как всегда, сердитым и задумчивым. Я завернула старичка в тряпку очень быстро, чтобы никто его не увидел. Мы говорили при нем все время шепотом.

— Дома его не будем развертывать, да, Лялька?

— Да, да, не развертывать. А то мама увидит.

— И папа.

— Да, ведь и папа. Папа приехал!

— Ага. Папа приехал. А где старичок будет жить в Петрограде, Лялька?

— Как где? В нашем саду! Муська, ты помнишь наш сад,— какой он огромный, правда?

— Ага. Я помню — он огромадный. А наш петроградский дом еще огромаднее. Ты знаешь, через три дня мы будем жить в нем!

Мы изумленно смотрели друг на друга и смеялись от счастья.

— Побежим скорее собираться!

Я прижала завернутого старичка к груди, и мы понеслись к нашему корпусу. Липы монастырского сада, ликуя, гремели над нами круглыми своими листиками, медовый, сияющий, жаркий ветер летел нам навстречу, мы нарочно бежали что есть силы, опрометью, задыхаясь от ветра и счастья, как вдруг из-за кустов выскочил Тузик.

Он бросался на грудь то ко мне, то к сестре, громко, обиженно лая, и мы остановились как вкопанные, мы поняли: Тузик все знает. И то, что мы уезжаем в Петроград, и то, что мама и папа решительно сказали нам вчера, что Тузика взять с собой невозможно. Он узнал все по новому, чужому запаху папы, по запаху ящиков и рогожи — щемящему запаху отъезда. Он знал также, конечно, что мы не возьмем его с собою, но... но он все-таки надеялся! И в день отъезда, когда мы ловко и незаметно для взрослых сунули нашего старичка в большой ящик под самую рогожу, когда чужие мужики заколотили ящики и повезли их на тачке к пристани, а мы пошли за тачкой,— Тузик деловито бежал рядом, не отвлекаясь ни на минуту в сторону. Он твердо решил ехать вместе с нами в Петроград. Мы с Муськой молчали, подавленные своим предательством, и я даже не оглянулась на монастырь, на собор, который потом столько лет подряд снился мне таким прекрасным и недостижимым. Большая лодка уже была нагружена нашим скарбом, и папа, очень худой и потный, обнимал угличских друзей и знакомых и торопил нас садиться, а мы, обняв и перецеловав товарищей, все никак не могли проститься с собакой, коротавшей с нами голодные, темные, страшные вечера в келье, и обнимали ее, и плакали, плакали...

Один из мужиков, катавших нашу тачку на пристань, спросил певуче:

— Чья собачка-то?

— Наша,— ответила я и, взглянув на дядьку, увидела, что у него круглое, доброе лицо.— Возьмите ее себе, дяденька! Только, пожалуйста, кормите. А то она умрет.

Дядька кивнул головой:

— Ладно. Возьму для ребят. Собачка веселая, чисто детская.

Он вынул из глуби полосатых штанов веревку, завязал ее на шее Тузика, а конец взял в руку.

— Ну, садитесь, садитесь,— торопил папа.— Да не ревите вы, девчонки, к дедушке-бабушке едете, в Питер!

Мы сели, и лодка отчалила. Отчаянно рванувшись к нам, Тузик залаял, завизжал, захрипел, точно тоже разрыдался. Мы заревели в голос обе.

— Ну, господи благослови,— сказала мама.— Ну, посмотрите же в последний раз на Углич, дети. Ведь сколько здесь пережили.

Я подняла лицо, распухшее от слез. Колеблясь сквозь слезы, точно погружаясь в воду, Углич стоял на высоком-высоком откосе, узорный, древний, зеленый, и «наш собор» возвышался в гуще его зелени, белый, с пятью синими звездными главами, и сумрачно краснел терем Димитрия-царевича на берегу, а немного поодаль — Воскресенский монастырь, и все это было подернуто легкой дымкой летнего зноя и колебалось за пеленой слез, и какой-то белый, нежный пух с деревьев тихонько летел и летел в воздухе. И вдруг во мне вспыхнула небывалая дотоле нежность к исчезающему из глаз городку: здесь ведь было не только «голодное время»; здесь была испытана первая, горделивая, распирающая радость походов на субботники вместе с настоящими коммунистами и комсомольцами, под пение «Интернационала», когда чувствовала, что ты совсем такая, как «большие», и тоже по-настоящему участвуешь в войне с белыми, с ненавистным Колчаком... А наша школа? А Тузик? А праздники — особенно весенние?..

И, не отдавая себе отчета в этом так ясно, как теперь, я помню — сердцем помню, как почувствовала, что что-то очень хорошее, светлое остается в Угличе, такое, чего уже никогда-никогда не будет, даже в Петрограде. И точно тонкая, блестящая, острая струнка дернулась и застонала, задрожала в груди.

...Мы ехали по Волге целый день и целую ночь, и ночью сперва было очень интересно: казалось, что можно даже, если изловчиться, подцепить из темной и теплой воды серебристую звездочку, как рыбку, и на берегах толпились теплые, уютные огни, но потом очень захотелось спать. Мы долго не могли примоститься, отовсюду выпирали ящики, потом, по-щенячьи прижавшись друг к другу, кое-как задремали. Однако проснуться пришлось

почти сразу — мы подъехали к станции Волга. Кругом был темно-розовый туман: мы причалили прямо у берега. Мучительно хотелось спать, и все было как во сне: и то, что мы долго карабкались по мокрому, холодному, сизому от росы откосу, и то, что потом сидели в какой-то вонючей избушечке, а потом ехали на нестерпимо скрипящей телеге, и когда уже взошло солнце, приехали на станцию Волга и вошли, наверное, в вокзал.

И тут я до того поразилась, что сон как сдунуло, а та стонавшая внутри тонкая струнка смолкла внезапно, как оборвалась: столько людей, столько людей было кругом — и в самом вокзале с мутными, полуразбитыми окнами, и на платформе, и прямо на земле у стен вокзала,— столько людей, и, главное, у всех, решительно у всех было одно лицо! Не мужское и не женское, не старое и не молодое, а просто лицо, желтое, как церковная свечка, с синими тенями у глаз, со слипшимися прядями серых волос... Потом я узнала это лицо на плакатах Помгола. И — кто лежал в изнеможении, прямо на полу или на земле, кто сидел, кто стоял, но все как-то клубились, кричали, кишели, и диким бедствием, дикой стихией веяло от этих желто-синих клубящихся людей с одним лицом, от слитного, горестного, неумолкающего крика, от режущего плача грудных, от пронзительного запаха мочи и гари.

«Это потому, что кончилась война... это все домой... В Петроград, как мы. Все, все в Петроград...» И мы, как они, мы такие же, мы все вместе в Петроград, в Петроград»,— стремительно пронеслось в уме, и вдруг я ощутила себя целиком во власти этой стихии, ясно почувствовала, что меня — отдельно — вовсе и нет на земле.

И мы с мамой сели на пол, в гущу людей, тесно прижавшись к одной тетеньке с желтым лицом, до ужаса похожей на нашу маму. Я не могла отвести глаз от нашей соседки. И мы сидели на вокзале долго, до самого вечера, и с ненасытным, новым для себя любопытством разглядывала я обглоданных голодом людей, всем существом ловила общий гул и стон и с жадностью, со страхом, со странным восторгом прислушивалась к новому, смутному, непонятному и огромному — ощущению бытия.

Посадка в вагоны была страшной. Тут все заклуби-

лось так, что, казалось, еще минута и — гибель. Папа подал меня и Муську какому-то дядьке прямо в окно, и дядька бросил обеих на верхнюю полку, как мешки. Потом забравшиеся в вагон стали выталкивать тех, кто еще лез в окна, и, в дрожащем желтом свете свечи, люди галдели, стонали и кишели еще страшнее, еще печальнее, чем на вокзале, но я уснула мгновенно, едва голова коснулась полки...

Сказка о свете

Мне казалось, что кто-то быстро гладит меня по лицу прохладной, пушистой лапкой.

«Белка»,— подумала я, не удивляясь, и в ту же минуту мне приснилась оранжевая сосновая роща, где сосны стояли очень прямые и ярко-оранжевые и между ними неподвижно висели зеркальные солнечные блики и тени. Было очень жарко, руки и щеки прилипали к смоле, было душно от сияющей жаркой смолы, от солнца, от яркого цвета сосен, а белка щекотала лицо быстро, прохладно, нежно, всеми волосиками, расторопно перебирала пряди волос у меня на лбу.

— Белинька, милая,— косноязычно пробормотала я, смеясь и очень любя белку,— вот я тебя поймаю и привезу в Петроград...

Я подняла руку к лицу и открыла глаза. И мгновенно, с той неукротимой жадностью, которая вспыхнула во мне вчера на вокзале, стала смотреть и слушать, смотреть и слушать...

Стучал поезд. Смутный рассвет недоуменно, неуверенно освещал вагон. Я взглянула вниз: непонятно как разместившись, истошно кричавшие ночью, грубо пихавшие друг друга люди спали. Все спали, спали сидя, тесно, доверчиво прижавшись друг к другу, спали опустив головы на колени, или спрятав лицо в ладони, или охватив руками затылки. Я не могла различить среди круглых, одинаково согнутых спин папу и маму, спавших, как все. Все сидели так, точно цепенели в глубоком, трудном раздумье, неподвижные, серые, согнувшиеся, и были похожи

сверху на большие круглые камни, робко озаренные серым рассветом.

«И спит король Артур, и крепко спят рыцари круглого стола»,— вдруг торжественно и грустно прозвучала в уме вычитанная откуда-то фраза, и так это похоже показалось!

Они спали, усталые, безмолвные, как бы навсегда оцепеневшие в важном раздумье, и, спящие так, мчались в Петроград. Лишь иногда раздавался стон или отрывочное, полубредовое бормотанье,— наверное, у многих уже начинался сыпняк...

«И крепко спят рыцари круглого стола... А белка?» Лапка ее все еще бегала по моему лицу. Но это оконная рама чуть-чуть спустилась, легкий предутренний воздух врывался в горячий вагон. Я подставила под живую эту струю открытый горящий рот, приостановив дыхание... Нет, спали не все: внизу, под моей полкой, невидные сверху, негромко говорили двое мужчин. А за окном расстилалось пустое, серое, туманное поле. Обгоревшая избушка боком проскочила мимо. Туман стал гуще, зарокотало железо: мы медленно ползли по железному мосту. Черные, влажные балки плыли мимо окна, нахохлившийся часовой, стоя на каком-то странном выступе моста, поднял глаза и взглянул мне прямо в зрачки, и взгляды наши столкнулись, слились... А внизу и вдали, за балками, тускло поблескивала вода — это была река. Холодная, бесцветная, вся в парах, уходила она в пустые поля, где едва-едва в тумане и утренних сумерках намечались кустарники. И на мгновение остро, почти болезненно, мне показалось, что все это уже было один раз в моей жизни: земля и вода в тумане и пристальный взгляд незнакомого человека прямо в зрачки — из пустоты и тумана...

— ...И вот, дружба, трудятся на этой реке массы народа,— нараспев говорил под моей полкой мужской голос; таким голосом, наверное, говорили по ночам сказочники — сипловатым, таинственным, чуть воспаленным.— Со всех концов Расеи народ, всякого рабочего люду массы — каменотесы, камнебойцы, плитоломы, ка́тали... как при Петре Великом.

— Мы слышали,— ответил голос помоложе, усталый и ломкий.

— И завезена туда удивительная машина... Это... это умнейшая машина на свете, дружба! Она тебе этаким ког-

тем, вроде ковшика, подцепит и подымет земли... Ну, сколько, ты полагаешь, подымет земли?

— Ну сколько?

— А до ста возов земли за один раз! Чуешь? И она любую землю берет — и летом и зимой. А зимы у нас какие пошли? Голодные и холодные, и земля теми зимами — железная. А она этой земли не боится! Она ее копает и копает, грызет до самого дикого камня и сыплет высоченной горою...

— Ну а для ча ж это все?

Рассказчик глубоко, радостно вздохнул, и голос у него стал мягким и умиленным, точно засиял в сумраке; так, должно быть, светлели голоса сказочников, когда приступали они к рассказу о снятии заклятия.

— Эх... дура ты, малый. «Для ча?» Да ведь там же водопад будет! Преогромаднейший, пойми, водопад. И такой неистовой силы, что от этого водопада появится сам свет. Как от бога. Оно Волховстрой называется, дружба, ты запомни это — Волховстрой.

— И много его будет, того свету?

— У-у, малый! Спросил тоже! Да всю Расею светом зальет, до последней щелки. Белый свет, ясный, как дневной. Одно слово — научный, ну, попросту говоря, элек-триче-ский... только тебе пока не выговорить это, пожалуй.

— Отчего же это,— вдруг обиделся молодой голос.— Очень даже выговорим: е... е-лек-тричесткий... Уж ты, дед, думаешь...

— Да я не думаю! — почти ликуя, воскликнул рассказчик.— Я просто говорю: учись, дружба, понимай... Ведь сила от этого света будет, от электричества, страшная сила. Этой силе все подвластно: ею и железо можно точить, самое твердое, и машины двигать, и пахать, пахать можно, малый, вот что главное, да не так, как мы сейчас сохой ковыряем, а тыщи верст зараз поднимать. Сила и свет, как от господа бога,— сила и свет.

Рассказчик бурно вздохнул и помолчал. Стучал поезд. Как бы оцепенев в глубоком раздумье, все спали измученные, подстерегаемые сыпняком, круглые и неподвижные, и, спящие, мчались в Петроград.

— Голодаем и холодаем, пусть хоть светло будет,— грустно, устало сказал молодой голос.— При свете легче, чем в темноте, правда, дед?

— Может, правда,— равнодушно согласился тот и снова вдохновенно пророкотал: — Оно как брызнет с Волховстроя, как засияет на всю Расею, как заплещется! Это Ленин так велел.

Петроград

В полдень приехали мы в Петроград, за родную Невскую заставу. И вдруг оказалось, что наш петроградский дом вовсе не огромный, каким вспоминали мы его почти три года, а маленький... Он был очень даже маленький, и было совершенно непонятно, почему он так уменьшился, пока мы жили в Угличе и мечтали о нем.

А сада не было совсем — осталось только четыре березы у полуразрушенной беседки; даже зеленоватого забора с вырезанными в досках сердечками не оказалось.

— В голодуху на дрова срубили,— сказала бабушка и первый раз заплакала о саде. Вместо сада был общий домовый огород, огороженный ржавыми кроватями и ржавыми жестяными вывесками, очень маленький,— значит, и сад был когда-то маленький,— и новые, незнакомые нам жилички окучивали на грядках картошку.

Итак, нашему старичку негде было жить.

Три дня, завернутый в клетчатую тряпку, он прожил за печкой в столовой. Потом мы, оставшись одни, вытащили его с великим благоговением, развернули и поставили на стул. Поставили, взглянули и — обомлели: старичка н е б ы л о. Это был просто уродливый темный корень, правда, тот же самый, что и в Угличе, и отросточки по бокам у него торчали, которые были в Угличе ручками старичка, и нарост был наверху тот же самый, который раньше был его сердитым и задумчивым личиком,— все, все было на месте, но самого старичка больше не было. Он как бы исчез по пути в Петроград, оставив вместо себя нечто некрасивое и совершенно мертвое. Мы уж и так и этак его вертели, смотрели на него и с боков, и сзади, и на пол ложились, и с полу смотрели, нарочно жмурясь, нет — корень, а не старичок! Муська еще различала бородку и общие смутные очертания старичка, а я уже ни-

чего не видела, кроме уродливого корня, и это, как я поняла потом, была большая утрата.

Бывшего старичка я сама пихнула в плиту, потихоньку...

А может быть, это случилось со старичком или с нами еще и потому, что в петроградском доме встретила нас нежданная большая радость: как раз незадолго до нашего приезда к нам провели электричество, и старая висячая лампа горела теперь еще ярче, чем до отъезда в Углич! Как хорошо, что мы не верили маме, будто везде эти годы было темно и холодно, как у нас в келье. Правда, свет давали только с вечера, но когда дедушка тихо чикнул выключателем и под старым зеленоватым абажуром вспыхнул приветливый огонек, мне показалось, что у меня внутри тоже что-то чикнуло и зажглось,— так хорошо стало!

— Дедушка,— спросила я тихонько, робея, точно выдавая большую тайну,— дедушка, это... это с Волховстроя?

— Ну что ты, Олюшка! Волховстрой еще строится... А когда его построят, разве у нас такие лампочки будут? Это — темненькая, шестнадцать свечек... А тогда будут большие, круглые, светлые, и на весь день ток будет, и везде, а не только у нас...

И мне стало еще счастливее. Наш дедушка говорил почти точь-в-точь как тот старик под моей полкой, значит, тот старик не врал, значит, Волховстрой — правда, и он будет... и везде будет светло-светло, а если будет светло, значит, не будет холода, темноты, голодного времени, не будет такого вокзала, как на станции Волга, не будет таких страшных людей, как там, их нигде не будет, ни в Петрограде, ни в Угличе! На мгновение видения минувших суток, ночной разговор в вагоне — путь в Петроград, весь целиком, остро и ярко пронесся передо мной, и я не умом, а чем-то другим поняла, что все это теперь навсегда останется во мне, как часть меня самой, как нечто вечно живое...

На моей памяти

И так это и стало. Путь из Углича в Петроград остался во мне не просто как воспоминание,— с течением жизни это воспоминание, живое и острое, все более пополня-

лось, обогащалось, все более *жило*, и все новое, что вливалось в него или соприкасалось с ним, что я узнавала, становилось и *моим личным тогдашним* прошлым.

Уже много лет спустя я узнала, что примерно в те же годы, когда мы возвращались в Питер, чуть ли не в те же дни, на родину мою приезжал известнейший английский писатель-фантаст Герберт Уэллс, и прочла его книгу об этом путешествии.

Он ехал по той же железной дороге, что и мы, он видел таких же женщин, мужчин и детей, как мы, он видел н-а-с. Но мы жили, а он смотрел. Смотрел, как на сцену, *из окна отдельного купе в хорошем вагоне, где ехал со* своим сыном, со своим английским кофейным прибором, пледом и консервами, привезенными из Англии. Их сопровождал «приставленный в Петрограде» матрос, перевитый пулеметной лентой, который зорко следил, чтобы никто не обидел знаменитого гостя, на остановках бегал для него за кипятком, а кипяток набирал в «серебряный чайник с царской монограммой», настолько «прелестный», что Уэллс этот чайник запомнил... Матрос ходил за кипятком на вокзалах, подобных станции Волга. А английский писатель был ужасно недоволен, что едет не экспрессом, а скорым, и непрерывно сварливо донимал балтийского матроса с серебряным чайником политическими претензиями... *«Уста мои разверзлись,— писал он впоследствии,—* и я заговорил с моим проводником, как моряк с моряком, и высказал ему все, что думал по поводу русских порядков...» Писатель упоминает также, что испытывал острое раздражение из-за ответов матроса, который, выслушав «мою длинную едкую речь, весьма почтительно отвечал одной, стереотипной, очень знаменательной для современного настроения умов в России, фразой: «Видите ли,— говорил он вежливо,— блокада! Блокада четырнадцати держав...» И автору «Борьбы миров», описавшему войну людей и марсиан, непонятно было, *что* вкладывал матрос в эту «стереотипную» вежливую фразу: «Видите ли, блокада...» До сих пор думаю, сколько выдержки потребовалось матросу, чтобы не ответить «по-балтийски» брюзжащему писателю... В те дни даже мы, дети, еще в Угличе пели, что у Колчака «мундир английский...». О, как любит мое детство этого неизвестного,

через много лет узнанного матроса, как не прощает ничего знаменитому писателю,— сильнее, чем зрелость!

Герберт Уэллс не слышал, конечно, такого разговора, который слушала я по пути в Петроград, но ведь ему в то же самое время говорил о Волховстрое Ленин! И знаменитый фантаст снисходительно пожалел «кремлевского мечтателя», впавшего в «электрическую утопию». И книгу свою о моей родине в те годы он назвал: «Россия во мгле»; он видел ее только во мгле и будущее ее видел как мглу, а он ведь был совсем не самый худший из зарубежных людей, он в чем-то сочувствовал нам. Как гордится детство мое неизвестными спутниками в вагоне — русскими крестьянами, которые видели будущее своей родины как свет, как гордится и детство, и вся жизнь моя Владимиром Ильичем Лениным, не только мечтавшим, но уже тогда, в те годы, начавшим воплощать народную мечту о свете и силе. Вечно гордись им, жизнь моя, гордостью глубокой, целомудренной, молчаливой, открытой — гордись всегда, помни о них всегда, что бы ни случалось с тобою, со страной, с народом! К декабрю 1920 года был готов план ГОЭЛРО, и, докладывая о нем VIII съезду Советов, Глеб Максимилианович Кржижановский включил карту Российской Советской Федеративной Социалистической Республики «с центрами и кругами», и она засверкала перед взорами делегатов, почти ослепляя их. Быть может, это было в тот самый вечер, когда в келье у нас от неосторожного вздоха сестры погасла коптилка и сломалась единственная спичка, и мы, в темноте и страхе прижимаясь друг к другу, не знали, что в эти часы далеко в Москве горит и сверкает карта Будущего — нашего будущего. Оно было уже определено партией, оно было уже зримо ей.

Все это, уже почти легендарное теперь: поездка Уэллса, разговор с Лениным, сверкающая карта на VIII съезде Советов — было узнано мною и сопряжено с детством и органически, горделиво включено в него как нечто ему принадлежащее, как его достояние — уже в дни комсомольской молодости, в период азартной работы на «Электросиле» и первую пятилетку, на заказах Большого Днепра.

И детство мое, и жизнь моя богатели все больше и больше,— еще двадцать лет спустя я услышала обо всем этом от самого Глеба Максимилиановича Кржижановского, когда в январе пятьдесят второго года провела у него целый вечер перед первой своей поездкой на Волго-Дон.

Рыцарь света

Невысокого роста, сухонький, подвижный, в черной шапочке академика, с темно-смуглым лицом, на котором *ослепительно сверкали белые* треугольные кустики бровей, такие же кустики усиков и такой же кустик бородки, с очень большими, темными, полными жизни и ума глазами,— таким предстал передо мной человек, начавший работу с Владимиром Ильичем Ульяновым в «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса». Вместе с ним отбывал он сибирскую ссылку, написал неувядаемую «Варшавянку», был одним из руководителей работ по созданию плана ГОЭЛРО — один из тех подвижников электрификации, которых Ленин назвал «рыцарями света».

По просьбе Глеба Максимилиановича я рассказала, как выглядит сейчас Александровская улица за Невской *заставой, куда он и Ленин приходили в конце* девятнадцатого века на собрания первых рабочих кружков: деревянный домик, где они собирались, сохранился, а середина мощенной крупным булыжником улицы немного осела, так что огромные тополя, стеной стоящие по обеим ее сторонам, сильно и ровно склонились друг к другу и почти сомкнули кроны, как будто зеленым живым шатром прикрывая путь, по которому ходил когда-то молодой Ленин...

— О... как я помню его — тогдашнего! — негромко воскликнул Глеб Максимилианович, и столько трепетной, глубокой любви зазвучало в его голосе и выразилось на живом лице, что она словно озарила все вокруг.— Я горжусь, что еще тогда сразу пошел за ним. И я уж этак, знаете, за ним, за ним, не отставая, этаким, как говорят, петушком — всю жизнь... А сколько он сердца вложил в этот наш план ГОЭЛРО, сколько о нем мы в этой самой комнате переговорили...

— Владимир Ильич бывал здесь? В этой комнате?

— Ну конечно,— весело подтвердил Кржижановский.— Частенько бывал, и один, и с Надеждой Константиновной... И всегда сидел на том же самом месте и на том же стуле, на котором вы сейчас сидите...

Я невольно вскочила и по-новому оглядела скромную, умную комнату, и даже легкий озноб пробежал по телу.

— Сидите, сидите,— замахал на меня рукой хозяин,— ничего... Тут все с ним у меня связано... Он был мечтатель, смелый, гениальный мечтатель, иногда... озорниковатый — по-русски! Он, знаете ли, не только как государственный деятель понимал, что такое электрификация, но еще как-то по-юношески был влюблен в нее, и свой Волховстрой... Да, это его детище. Любимое.— И, строго взглянув на меня, спросил: — Вы были на Волховстрое, надеюсь?

И тут я не могла, хоть бегло, не рассказать Кржижановскому, что была на Волховстрое — всего три недели назад, когда первенец электрификации отмечал свое двадцатипятилетие. И так счастливо получилось, что там настигла я живое и прекрасное завершение легендарной были, подслушанной в детстве, в бедственном вагоне голодного года: я познакомилась с сыном и внуком человека, который привел в девятнадцатом году из красного Питера ту самую «умнейшую на свете машину», грызущую землю вплоть до дикого камня, о которой с таким вдохновением и надеждой рассказывал старик в вагоне. Это был коренной путиловец, старый питерский рабочий, его звали Алексей Васильевич Васильев, а «умнейшая машина» была экскаватором № 12, поднимавшим полкубометра земли. Как ей далеко еще было до сегодняшних шагающих гигантов!.. А она в те годы казалась моей стране огромной, как мне — петроградский дом... Когда Волховстрой был создан, Алексей Васильевич вернулся в Питер — уже Ленинград,— на родной «Красный путиловец», а сын его, Василий Алексеевич, пришедший сюда в двадцатом, остался работать на новорожденной станции. Он женился на «волховской русалке», на девушке из деревни Дубовки,— деревни, ушедшей на дно, затопленной Волховом после постройки плотины. В год пуска Волховстроя у них родился сын, названный в честь деда — первостроителя Волховстроя — Алексеем. В дни Великой Отечественной войны семья Васильевых не покидала станцию, оберегала ее, готовая драться за нее до последнего вздоха с врагами. И хотя немцы стояли буквально рядом, обстреливали и бомбили Волховстрой, маленькая кучка волховчан — работников станции — все же торжественно отметила пятнадцатилетие Волховстроя в декабре сорок первого года, а в январе уже принялась восстанавливать станцию, чтобы дать ток Ленинграду. Старый путиловец Алексей Васильевич в это время работал на Кировском заводе — в блокированном Ленинграде. Он умер на заводе от голода в январе сорок второго года на своем рабочем месте.

Я рассказала Глебу Максимилиановичу эту историю, достойную поэмы, еще более бегло, чем здесь, мне не терпелось спрашивать и слушать его. Все более оживляясь и как бы молодея, он рассказывал и о Ленине, и о встрече его с Уэллсом: «Ленин над ним смеялся, говорил: — Ничегошеньки не понимает!» Рассказывал о VIII съезде Советов, где включил карту плана электрификации России. Я все-таки спросила, неужели правда, что пришлось выключить ток во всей Москве для того, чтобы зажечь эту карту.

— Нет,— ответил он серьезно,— не во всей: в Кремле в одной комнате осталась гореть одна лампочка в шестнадцать свечей... Боже, как я волновался в тот вечер! Мне было предложено уложиться в сорок минут... А план — ведь это же тома, тома, видите?.. Но сорок минут! Я говорю Владимиру Ильичу: «Владимир Ильич, провалюсь». Он посмеивается: «Ничего, ничего, не волнуйтесь, выпейте перед самым докладом чашечку крепкого кофе — я сам так иногда делаю, когда волнуюсь перед докладом». Ну что же, я последовал его совету, но волнение мое не убавилось... И вот я делаю доклад и чувствую, что так много не сказано, так много... Заканчиваю — чувствую, ничего не сказал! Включаю карту Российской Федерации, уже всю карту, произношу последние фразы и совершенно ясно понимаю: ну, провалился! (Глеб Максимилианович схватился руками за голову, в глазах его вспыхнул настоящий ужас.) Провалился! А сам этак краешком глаза, самым уголком — на Ленина, на Ленина! И вижу... Владимир Ильич кивает мне головой и улыбается, и Надежда Константиновна улыбается... А из зала, из полумрака — какой-то непонятный гул... Смотрю —

это делегаты один за другим встают, глядят, этак не отрываясь, на зажженную карту и рукоплещут ей... понимаете, рукоплещут! И Ленин такой довольный, улыбается и тоже аплодирует... Ну, думаю, кажется, сошло...

Он засмеялся молодо и счастливо, потряхивая головой в академической шапочке, явно укоряя себя за тогдашние свои сомнения,— все это трудное и прекрасное прошлое жило в нем вечно живой памятью, памятью чувства и крови... Он прошелся по комнате, помолчал и добавил с сильным душевным волнением:

— Д-да... многое пришлось пережить, пока составлялся план. Он весь вон на той машинке отстукан — видите? — и указал на большой старомодный ремингтон под помятым и довольно обшарпанным колпаком.— Всякое было. С иными старыми спецами приходилось порой вести себя, как укротителю тигров... Но одной ночи мне не забыть никогда! Я в эту ночь заканчивал предисловие к «Плану электрификации»... Заканчивал его словами, обращенными к далеким нашим, счастливым потомкам. Я писал, что, наверное, прекрасные, высокоразвитые, смелые и умные люди будущего найдут в нашей работе немало погрешностей, ошибок, недодуманностей... И я просил их извинить все это нам, потому что мы, создавая этот первый, несовершенный план, работали в тяжелых условиях, в блокаде четырнадцати держав, отбиваясь от интервентов, задыхаясь от разрухи, холода и голода. И, знаете, представляя себе этого изумительного, счастливого человека будущего, мысленно беседуя с ним, я плакал... Да, вот стоял посреди этой комнаты один и, вот так стиснув руки, плакал от любви к этому будущему человеку, от восторга перед ним, от невероятного желания хотя бы одним глазком взглянуть на него, на то будущее, которое мы закладываем,— далекое будущее...

Он стоял посредине комнаты, невысокий, очень старый человек — старше электрической лампочки, автомобиля, самолета, помощник бессмертного Ленина, доблестный рыцарь света,— стоял, стиснув руки, с увлажненными, блестящими глазами, заново переживая ту свою ночь восторга перед будущим. И, с каким-то суровым волнением глядя на него, мне хотелось сказать:

«А ведь вы плакали тогда перед самим собой — сегодняшним... Перед сегодняшним нашим днем — таким, как он есть сейчас... со всем, что в нем есть...»

Но я ничего не сказала,— целомудренное волнение минуты было больше слова.

Главная книга

И вот с того года, с той ночи, когда Глеб Максимилианович Кржижановский, замирая, мечтал «одним глазком» взглянуть на будущее, а потом вскоре включил его зримую, деловую, сияющую карту; с того года, как мы уехали из Углича; с того первого, смутного ощущения б ы т и я на голодном приволжском вокзале; с той ночи в сыпнотифозном вагоне, где подслушала я фантастический рассказ о Волховстрое; с приезда нашего в Петроград, где уменьшился родной дом и исчез старичок (волшебное зрение детства) и тревожное, знобящее, как рассвет, отрочество вступило в свои права вместе с первой электрической лампочкой, блеснувшей в старом нашем доме,— с тех пор по сегодняшний день прошло тридцать два года. И если я о чем-нибудь больше всего хочу писать, то это именно об этих тридцати двух годах жизни — своей, а значит, и всеобщей, потому что не могу отделить их друг от друга, как нельзя отделить дыхание от воздуха.

Я уверена, что если не у каждого, то у большинства писателей есть Главная книга, которая всегда впереди. Самая любимая его, самая заветная, зовущая к себе неодолимо. Быть может, *иногда, в одиночестве*, писатель трепещет от восторга перед ее видением, пока никому не доступным, кроме него самого... Писатель может не знать заранее, в какой ф о р м е она воплотится — в поэме ли, в стихах ли, в романе, в воспоминаниях ли, по твердо знает, ч е м она будет по главной сути своей: знает, что стержнем ее будет о н с а м, его жизнь, и в первую очередь жизнь его души, путь его совести, становление его сознания,— и все это неотделимое от жизни народа. Иначе говоря, Главная книга писателя — во всяком случае, м о я Главная книга — рисуется мне книгой, которая насыщена предельной правдой н а ш е г о о б щ е г о б ы т и я, про-

шедшего через м о е сердце. Главная книга должна, мне кажется, начаться с самого детства, с истоков, с первых, чистейших и фундаментальнейших впечатлений, которые, в частности для моего поколения, так счастливо совпадают с первыми годами — тоже детством! — нашего нового общества. Главная книга должна достичь той вершины зрелости, на которой писатель работает с полной и отрадной внутренней свободой и бесстрашием, безоговорочно доверяя себе, на виду у всех и наедине с собой; когда единственной его заботой остается забота о том, чтобы вся жизнь, и его и всеобщая, смогла выразиться наиболее полно и е д и н о, смогла предстать не в случайных эпизодах, а в целом, то есть — в сущности своей; не в частной правде отдельного события, а в ведущей правде истории. Как на фундаменте, Главная книга покоится на едином всеобъемлющем и ясном чувстве, то есть на фундаменте нашей великой идеи, которая стала всеми пятью чувствами человека и объединяющим их особым, художественным чувством писателя. В Главной книге совершается открытый и правдивый показ становления, мужания и созревания этой идеи-чувства, иначе — коммунистического мировоззрения и мироощущения человека, раскрывается борьба за него — с обстоятельствами, с самим собою, с пережитками прошлого в себе и вокруг себя, с врагами, недругами, а иногда и с друзьями.

Противоречит ли мечта о создании такой книги основной задаче писателя — отражению объективной действительности в художественной форме и воспитанию коммунистического мировоззрения читателя? Нет, не противоречит, потому что самое главное, что должна отображать (точнее — выражать) литература,— это внутренний, духовный мир нашего человека, сложное и многообразное движение этого мира, который и определяется деяниями человека-общественника, и определяет его деяния. Ничего выше и благородней этой задачи для литератора не существует. Незачем говорить о том, каких общечеловеческих побед (а не просто успехов!) добилась великая советская литература на этом поприще; победы ее широко известны, и мы в дальнейшем движении вперед смело можем опираться на них. Если же меня спросят, смогу ли я указать на такого рода книги, то я в первую очередь укажу в поэзии на такие произведения, как «Про это»

и «Во весь голос» Маяковского, а в прозе — на «Как закалялась сталь» Николая Островского.

С непреодолимой и спокойной силой разрушают эти произведения нелепое противопоставление исповеди и проповеди.

Страстная, насквозь пропагандистская финальная глава поэмы «Про это» — «Прошение на имя» — с ее пламенной и незыблемой верой в будущее, в «тридцатый век», который «обгонит стаи сердце раздиравших мелочей», в прекрасных людей этого будущего, мольба, обращенная к *ним*,— «*воскреси*», жажда быть с ними, состоя хотя бы «у зверя в сторожах» («Хоть одним глазком взглянуть на них»,— мечтая Кржижановский),— вся эта глава поддержана всем предыдущим ходом поэмы, где поэт с предельной беспощадностью к себе обнажает свое сердце, свой внутренний мир со всеми его смятениями, горестями, борьбой «с тем, что и нас ушедшим рабьим вбито», тот внутренний мир, в котором не просто отображались, но *через который то с болью, то с радостью проходили* сложнейшие общественные процессы того времени. Как нечто глубоко интимное, к а к р е в н о с т ь к л ю б и м о й (при этом реальную, человеческую ревность), переживает поэт попытки мещанского наступления на «наш краснофлагий строй» в годы нэпа. Поэма написана, как говорил о ней сам Маяковский, «по личным мотивам об общем быте». Пропагандистская — проповедническая у б е д и т е л ь н о с т ь ее финальной, особенно жизнеутверждающей главы, опирается на глубочайшую у б е ж д е н н о с т ь самого поэта в своих идеалах, убежденность выношенную, проверенную в испытаниях, выраженную им с беспощадной — воистину исповедальной правдой.

В еще большей мере все это относится к поэме «Во весь голос» не только пропагандирующей, но прямо агитирующей за боевое, социалистическое, партийное искусство,— вот именно проповедующей его. Но Маяковский проповедует это искусство не как нечто прекрасное, но внешнее, вне его существующее, а как дело всей с в о е й л и ч н о й ж и з н и, агитирует силой личного примера. Сердце его настежь до самых глубин открыто перед читателем, он настолько убежден в правоте своего дела, в истинности проповедуемого им искусства, что ему ничуть не страшно сказать: «И мне агитпроп в зу-

бах навяз». И следующее за этим открытое, суровое признание:

Но я
себя
смирял,
становясь
на горло
собственной песне...—

или столь же открытое обращение к далеким и счастливым потомкам:

Для вас,
которые
здоровы и ловки,
поэт
вылизывал
чахоткины плевки
шершавым языком плаката,—

не противоречат гордым заключительным строкам поэмы:

я подыму,
как большевистский партбилет,
все сто томов
моих
партийных книжек,—

а придают этим строкам незыблемую правомочность, вызывают в читателе безусловное, неограниченное доверие.

Огромное, не преходящее со временем воспитательное значение книги Николая Островского «Как закалялась сталь», до сих пор формирующей души целых поколений (уже иных, чем поколение Островского!), книги, насквозь партийной, зиждется именно на том, что, создавая образ Павла Корчагина, пропагандируя этот образ, Островский влил в него всю свою жизнь, всю свою душу. А эта душа была большой душой коммуниста, лучшего «сына века». И не важно, что «исповедь сына века» идет здесь не от самого автора и даже не от первого лица,— я уже говорила выше, что формы воплощения Главной книги могут быть самые разные... Я не знаю, какой процент домысла и вымысла вложен в прекрасную трилогию Федора Гладкова («Детство», «Вольница», «Лихая година»), но я убеждена, что вот этому писателю удалось написать

свою Главную книгу, что в ней он пишет действительно о себе и своей жизни — «по личным мотивам об общем быте»,— такой большой, человечной, радующей правдой, таким лично пережитым бытием веет от страниц этой трилогии, с такой высокой художественной свободой она написана. Да Главная книга и не чуждается ни собирательных героев, ни домысла, ни вымысла, не отказывается ни от одного из чудес искусства и прежде всего — ни на минуту не отказывается от великих задач коммунистической пропаганды. Но коммунистическая пропаганда-проповедь в таких книгах — это прежде всего действенная передача личного душевного и жизненного опыта, приобретенного в общенародной борьбе за создание нового, справедливого общества, а потому она нужна согражданам; это — настойчивое внушение читателю той большой правды жизни, которую лично постиг писатель. Мы, пропагандисты, «партией мобилизованные и призванные»,— мы гордимся этим, и мечта о Главной книге есть мечта о максимальной отдаче сил на партийное, народное дело. Не требование максимума, а требование минимума — вот что обескрыливает художника, чувствующего в себе истинные силы и мечтающего о подвиге во имя искусства. Но народ требует от нас максимума, и все наши писательские раздумья, споры, дискуссии подчинены именно этому требованию.

Попытки отделить исповедь от проповеди, противопоставить их друг другу, наконец предпочесть исповедь проповеди — или наоборот — вызывают активный внутренний протест не только в силу своей явной чуждости и вредности для дела советской литературы, но еще, я бы сказала, своей какой-то воинствующей малограмотностью. Эти попытки производятся людьми, которые явно не любят, не ценят и даже не знают опыта великой русской классики и советской литературы, никогда не отделявших исповеди от проповеди, но, наоборот, всегда стремившихся использовать форму исповеди как сильнейшее орудие пропаганды, то есть проповеди. Я говорила уже о величественном личном примере, точнее сказать — подвиге Маяковского. А разве не является автобиографическая трилогия основоположника советской литературы Горького — «Детство», «В людях» и «Мои университеты» — великолепной, уничтожающей пропагандой ненависти к миру мещан и торгашей, искажающему

человеческий облик, пламенной проповедью человечности, устремленной в будущее?!

Горький остался здесь таким же публицистом, трибуном, пропагандистом, как и в «Песне о Соколе», и «Матери» и во всех других своих произведениях: для настоящего писателя, кровно связанного с жизнью и борьбой народа, не может существовать никакой опасности в писании о себе и своей жизни. Нет, и здесь он не погрузится в созерцание собственного пупа, не займется ничтожными откровенностями, но, рассказывая о своем сердце, даже о тайных его движениях, обязательно расскажет о сердце народа.

...«Былое и думы» — вот книга, с которой я, как, наверное, множество литераторов, могу беседовать почти ежедневно, каждый раз с новым волнением и новым изумлением. Какое бесстрашное и естественное слияние интимнейшего повествования о «кружении сердца» с картинами европейских социальных поворотов; какой умной и требовательной любовью пронизано создание обликов тогдашних передовых людей, борцов с царской тиранией, и рядом — какие уничтожающие, памфлетные характеристики и «портреты» царских сатрапов, и испепеляющая ненависть к Николаю I, и боль за русский народ, и вера в его безграничные силы! Обо всем в этой книге написано с той идейной прямотой, с тем личным страстным отношением, с той «субъективностью», которая и является одной из существеннейших сторон партийности художника. И все пропитано кровью сердца, и все — сокрушительной силы пропаганда! Тут уж исповедь проповеди не противопоставишь, и вот это и есть та традиция, которую — я утверждаю — на новой идейной основе, новыми средствами продолжила и углубила советская литература и должна будет продолжать и углублять!

Повторяю и подчеркиваю, я вовсе не хочу сказать, что Главная книга может быть т о л ь к о дневником, мемуарами, только прямой автобиографией, и совсем не каждый писатель может и должен выступить с такой книгой, в такой форме. Но если говорить об облике Главной книги, появления которой я вместе со множеством писателей и читателей особенно горячо жду, о создании которой, как о деле всей жизни, мечтаю сама, то в представлении моем она ближе всего подходит именно к «Былому и думам», гениальному р о м а н у о человеческом духе, роману, не имеющему себе подобий в мировой литературе. Но советская литература должна создать его. Мне кажется иногда, что уже все подготовлено для его появления. Мне кажется иногда, что уже рядом с собой я чувствую локоть, прикосновение «нашего Герцена», необходимого нам не менее, чем Гоголь и Щедрин. Я готова отдать ему все, что ему потребуется, пусть и жизнь, и имя мое бесследно растворятся в его имени, я буду счастлива, если ему пригодится хоть одна написанная мной строка, хоть одна дневниковая запись, хоть одна мысль или чувство!..

Писатель пишет свою Главную книгу непрерывно, *иногда с самого детства. Чаще всего это дневник,* разумеется не пишущийся с расчетом на торжественную публикацию при жизни. У некоторых дневник — потребность. Не потребность «самолюбования» или «самоковыряния», как полагают литературные мещане, скрытники и скопцы, а сначала инстинктивное, но со зрелостью все более осознаваемое ощущение значительности всеобщей жизни, проходящей сквозь его жизнь, а может быть, вернее сказать — ощущение значительности своей жизни, неотделимой от жизни всеобщей.

Конечно, дневники ведут не одни писатели. При этом потребность вести дневник и у литераторов, и у нелитераторов возникает в некоторые периоды с особой остротой. Так, огромное число ленинградцев самых разнообразных возрастов, профессий и положений вели дневники в дни блокады. Я прочла множество блокадных дневников, писанных при темных коптилках, в перчатках, руками, еле державшими перо от слабости (чаще — карандаш: чернила замерзали), записи некоторых дневников обрывались в минуту смерти автора. То опаляюще, то леденяще дышит победоносная ленинградская трагедия со многих и многих страниц этих дневников, где с полной откровенностью человек пишет о своих повседневных заботах, усилиях, скорбях, радостях. И, как правило, «свое», «глубоко личное» есть в то же время всеобщее, а общее, народное становится глубоко личным, воистину человечным. История вдруг говорит живым, простым человеческим голосом.

Я сказала, что писатель пишет свою Главную книгу непрерывно, идет к ней все время, мечтает о ней неустанно.

Очень часто кажется: «Вот то, что я пишу, и есть наконец самое главное, вот тут-то я и выражу все самое свое тайное и драгоценное, необходимое согражданам. Вот она — Главная книга, я пишу ее...» Но книга написана, и видишь, что это опять не она, или только подступ к ней, или отступление от нее. Поэтому Главная книга как бы всегда в черновике, вечный черновик. Потому что она находится в непрерывном движении, совпадающем с движением жизни, с ростом и движением сознания писателя. О чем бы она ни была, она по мере движения жизни и сознания вбирает в себя все больше и больше, все время требует дополнений даже задним числом, даже дополнений из прошлого, встающего по-новому. Сама жизнь и обретаемая в ней истина все время держат свою суровую корректуру над Главной книгой. Она ветвится, рождает отдельные самостоятельные произведения, которые не более чем ее деталь, она обрастает сносками, массой заметок на полях — к тому, что написано, к тому, что напечатано, а иногда только задумано или набросано. И, может быть, именно эти сноски, заметки на полях, дневниковые раздумья и есть то, что станет основой, «вдохнет душу живую» в будущую книгу и сделает ее Главной. Быть может, она так и останется черновиком, быть может, ее так и нужно печатать?

...И у меня, как и у других писателей, есть Главная книга, которая вся еще впереди, отрывки из которой рассеяны и в том, что напечатано стихами и прозой, и в том, что держится пока еще в черновике, в столе, или только в сердце, в памяти. Но все больше хочется все это собрать, попытаться объединить, воплотить. Наверное, это опять будет не она, но уже наступило то время своей и общей жизни, когда, начиная любую работу, даже газетную, не можешь не думать о Главной книге, не можешь не надеяться, что это — путь к ней, приближение, пусть хотя бы на шаг, но уже реальное приближение.

Я уже говорила, что Главная книга должна начаться с самого детства, с первых страниц жизни... И вот потому в прошлом году я поехала в город детства, в город счастливейшего сна,— по следам Главной книги, которая все еще впереди, только в черновике... Как никогда, возникла потребность начать с начала, с истоков сознания, с далекого, но неувядающего прошлого — моего и моей страны. Но то, что вы уже прочитали и прочтете на этих страницах, еще не Главная книга, это еще не из нее, но только для нее, только шаги к ней, только черновики черновика — вечного черновика. Но так как многие идут сейчас к ней, к Главной книге, может быть, это чем-нибудь поможет общим поискам? Я только пока хочу описать здесь поездку в город детства — не больше...

«Это мое!»

И вот синим июльским днем прошлого года отчалил маленький теплоход «Георгий Седов» от Химок и направился по каналу имени Москвы, по Волге к Угличу.

Я с терпеливой покорностью ждала конца многочисленных шлюзований, уже испытанных однажды на этом канале, и, как и в первый раз, когда теплоход опускался в темную пещеру шлюза, мне казалось, что мы никогда отсюда не выберемся. Мы вошли в Большую Волгу, когда поднималась огромная, тяжелая, темно-золотая луна в прозрачном и тихом небе и еще не совсем погас розоватый свет на западе. Несказанный покой царил вокруг, и милая, добрая, не давящая, не поражающая дикой красой, а ласкающая своим простором русская природа взахлеб, настежь, щедро раскрывалась перед глазами и сердцем... «Приюти ты в далях необъятных! Как и жить и плакать без тебя?» Я твердила эти строки Блока как собственную мольбу. О, правда, правда, даже плакать без тебя нельзя, даже горевать. Ничего без тебя нельзя. А если ты есть, то все будет, все вернется, даже то, что кажется сейчас невозвратимым. И даже любовь вернется... Строки стихов — чужих и своих — вскипали и уходили, и они были о разном, о многом...

> О Родине и о любви,—
> они во мне неразделимы...

о «золотой свадьбе» —

> Ни до серебряной и ни до золотой,
> всем ясно, я не доживу с тобой.

Зато у нас железная была —
по кромке смерти на войне прошла.
Всем золотым ее не уступлю:
все так же, как в железную, люблю...

о калязинской колокольне —

о том, как вся она, белея,
из тихих-тихих вод встает,
и облака идут над нею
и у подножия ее.
Стоит, отражена в зеркальной,
в бездонно-чистой высоте,
как бы дивясь своей начальной
старинной русской красоте;
как будто говоря: «Глядите ж,
я с вами — всей своей красой...»
О город Китеж, город Китеж,
бесстрашно вставший над водой!

Наш теплоходик осторожно, тихо, как будто бы с глубоким уважением, огибал колокольню полузатопленного города, а она в ясном и добром лунном свете, вся до маковки отраженная в воде, была так прекрасна, что, как в детстве, хотелось протянуть к ней руку и воскликнуть: «Это мое!»

Была у нас в детстве, в Угличе, такая игра... да нет, пожалуй, не игра, а что-то серьезнее: вот если увидишь что-нибудь поразившее воображение — красивого человека, необыкновенный домик, какой-то удивительный уголок в лесу — и если первый протянешь к этому руку и крикнешь: «Чур, это мое!» — то это и будет твоим, и ты можешь делать с этим что хочешь. Например, если это здание, дом, ты можешь населить его кем хочешь, рассказывать о них и о том, как они там живут, какие там комнаты или как ты сам там будешь жить. Если это человек, ты можешь вообразить о нем все, что тебе хочется, дать ему любую жизнь, словом, все можешь ты в воображении своем сделать с тем, что стало твоим. Но самое главное, что это — картина, город, человек — твое и никто из ребят не может уже покуситься на это, потому что все знают, что оно — твое, и ты сам знаешь. И не было никаких сомнений, что это действительно принадлежит тебе. Тогдашнюю удивительно абсолютную уверенность в праве нерушимого обладания я помню по сей день. «Моей» была картина Куинджи «Лунная ночь на Днепре»; «моей» была старшеклассница Таня Козлова, девушка с круглым русским лицом и тихими,

большими серо-голубыми глазами, не красавица, даже немножко курносая, но такая милая, что глаз нельзя было отвести; она и не знала, что она — «моя». «Моим» стал Севастополь, матрос Кошка и адмирал Нахимов, когда мы прочитали книжки Лукашевич и Станюковича об обороне Севастополя; Муська мне ужасно завидовала, и хотя я великодушно уступала ей французов и даже Наполеона, она говорила: «Куда мне их...» Потом еще «моим» был один ручеек в лесу, выбегавший из-под зелено-мшистого, точно плюшевого камня, прозрачный, неистово светящийся и ужасно ворчливый. Он ворчал и бормотал почти по-человечески, во всяком случае одно слово, которое он баском упрямо твердил — «буду-буду-буду-буду...» — было слышно совершенно ясно... Кем он собрался быть — он не говорил... Наверное, каким-нибудь чудным водопадом, но где-то так далеко, куда мы не могли дойти. Да много чего у меня было в детстве, столько богатств, столько «моего», что и не вспомнить... Да, еще «моей» была валдайская дуга в тереме Димитрия-царевича в Угличе, но о ней я расскажу особо...

Две встречи

И город детства возник на раннем рассвете, в туманце, за марлей мельчайшего теплого дождя, в том самом странном мерцании, в каком снился много лет подряд. И не волнение, а настороженная тишина встала во мне, когда я увидела его еще издали, еще до входа под грандиозную арку шлюза с аккуратно-пышным цветником, рядом с прямоугольным, огромным, почти нагим по архитектуре зданием знаменитой гидростанции.

Мой городок больше не высился на стремительно крутом зеленом откосе: поднятая плотиной вода подошла почти вплотную к его бульвару, к терему Димитрия-царевича, к древним церквушкам на берегу; он показался мне очень маленьким, щемяще маленьким, как бы сошедшим к воде, как бы тяжко осевшим в землю. Я уже давно понимала, что так и должно показаться, но потом узнала, что Углич и на самом деле уходит в землю, а частью ушел в воду. Это точная терминология, бытующая на гидростройках,— ухо-

дить в землю, уходить в воду, уходить на дно. Ушел в воду старый-старый Паисьевский монастырь, отражавший набеги ляхов в Смутное время, ушла в воду Спасская слобода, поредел древний бор на той стороне. А многие здания Углича, особенно старинные, уходят в землю; с возникновением водохранилища высоко поднялись в городе грунтовые воды, и грунт размягчился, стал иным, чем несколько столетий назад, когда воздвигались эти церкви, эти колокольни и монастыри, все еще сказочной красоты, кротко и непримиримо вздымающие над водой свои потемневшие главки.

...Было около пяти часов утра, когда сонная дежурная городской гостиницы — одноэтажного деревянного дома с резными наличниками — отвела мне номер; в маленькой продолговатой комнате была постель, где подушка дыбилась уголком, стол под старенькой скатеркой, кушетка, над ней старинное зеркало в ореховой раме и на подоконнике большого окна — высокие, пышные, ярко-розовые герани. А из окна, за купами деревьев и кровлями, строго, печально и стройно возносясь в чуть голубевшее небо, виднелись три шатра Дивной — церкви Алексеевского монастыря, три с половиной столетия назад названной так народом за свою поистине дивную архитектуру. Было очень тихо, только еле слышно шептал в листьях маленький светящийся дождик, и запах мокрой травы вливался в открытое окошко, и порой бесшумно падал на подоконник розовый лепесток герани...

«Вот и хорошо,— подумала я,— точно всегда тут жила. Теперь ничего не буду ждать, ничьих писем, ничьих телеграмм — даже с призывом вернуться, и никуда-никуда не буду торопиться, даже к нашей келье и школе... Успею».

Я добросовестно попыталась уснуть, но, неподвижно полежав в постели около часа, вскочила: нет, надо пойти «к нему». Надо, надо. Пойти и дойти, хотя почему-то вдруг страшно. И я пошла «к своему собору». Он был виден отовсюду — теперь не синими, а почти черными куполами в еле заметных ржавых звездах, и все-таки я долго, как во сне, шла к нему, кружа забытыми улицами. Дождик перестал, город понемножку пробуждался, неясный жемчужный рассвет перешел в утро. Отодвинув рукой пышные герани, из окошек осевших в землю домиков глядели на меня бессонные старухи, и широкие улицы, как в дет-

стве, были покрыты пушистой зеленой травкой, и по улицам неспешно расхаживали многочисленные гуси с умилительно безобразными подростками-гусенятами. Огнепёрый великан петух — несомненный потомок того самого петуха, что оставил отпечаток своей гигантской лапы на Петушином камне, некогда лежавшем в конце Петуховой улицы,— огнепёрый и огнехвостый петух взлетел на глухую деревянную калитку с железным кольцом и упоенно закричал оттуда. А я все шла, и собор был все ближе... И чем ближе я к нему подходила, тем яснее видела, что нет на этом месте ничего похожего на детство и счастливый сон. Нет, не было корпуса с нашей кельей. Просто не было на земле. Не было темного пруда и лип, которые должны были греметь круглыми своими листьями, не было сада, где жил старичок, не было стены, идущей к собору и школе. Ничего похожего не было. Я дошла до самого собора: в обшарпанном, словно покрытом лишаями, основательно осевшем в землю соборе был склад «Заготзерна» и нефтебазы, о чем свидетельствовали безобразные вывески над кое-как сколоченными дощатыми дверьми, прикрывавшими входы. И только красное кирпичное здание нашей школы, первой моей школы, напротив собора было таким же, как тогда (хотя, разумеется, уменьшившимся), и было по-прежнему школой. Но сейчас были каникулы, и школа стояла пустая и тихая.

Я села на скамейку в маленьком цветнике, разбитом перед школой, напротив склада «Заготзерна», и подумала, что встреча с детством и счастьем не состоялась. Оно прошло, и то, что было за ним, прошло, ушло в землю, ушло в воду, ушло на дно.

> И твердил мне край, родной и милый,
> синь его, и камни, и зола:
> — Ты пришла туда, куда стремилась.
> Будь теперь спокойна. Ты пришла.

Наверное, я сидела здесь очень долго, потому что разгорелось солнце и в каких-то легких лиловатых и голубых цветах на школьных клумбах засверкали под солнцем капли дождя, а лепестки их стали просвечивать. Молодая женщина, поправляя кошелку с овощами, опустилась рядом со мной на скамейку.

— Скажите, пожалуйста, как мне попасть отсюда на Благовещенскую улицу? — спросила я ее.

Мне хотелось разыскать еще дом наших друзей по тем годам.

— На Благовещенскую? Что-то я такой не знаю...

— Она пересекает Крестовоздвиженскую, вот эту, которая идет отсюда.

— Ну-у? Разве это была Крестовоздвиженская? Вот интересно, какие все названия были божественные... Она — Октябрьская. А та, что вам надо, наверно, улица Свободы. Я не знаю как следует, я на улице Зины Золотовой живу.

— А Зина Золотова — это кто?

Она посмотрела на меня, склонив голову, как птица, темными серьезными глазами:

— Разве не знаете? Приезжая, видно, ну да. Это наша замечательная угличанка. Первая здешняя трактористка, комсомолка. Ее кулаки зверски убили, молодую совсем. Вот в ее честь и назвали улицу. Мы там и живем с мамой, со старушкой.

— Вы здесь родились, да?

Она покачала головой и коротко вздохнула.

— Нет, мы не здешние... Мы — ленинградские. Только мы тут уже давно — одиннадцать лет. Наш папа тут работал, на строительстве гидростанции, монтажником. Только вернулся со строительства, а тут война, блокада... Ну... он умер в блокаду, с голоду, не выдержал. А умирал — велел нам с мамой сюда ехать. Мы в феврале через Ладогу ехали, по Дороге жизни. Много тогда через Дорогу жизни ехало, а некоторые просто шли... Везут за собой саночки, в саночках — ребятишки, ребятишки замерзнут, мертвые уже, а мать все везет, пока сама не упадет или пока ее не подберут... А мы на грузовике... Мне десять лет, сестренке того меньше, мама еле жива, вся черная, как смерть... Как только доехали до Большой земли, не знаю... Ну, все-таки в нашем грузовике несколько человек по дороге замерзло... А мы сюда все же добрались, как отец велел. Тут много блокадников, ленинградцев. И встречали нас тут сердечно, кормили хорошо, а нам первое время все не наесться, все не наесться, даже стыдно. Я девочкой была, и то мне было совестно. Но — ела!

Она рассказывала так, как говорят о блокаде почти все ленинградцы, пережившие ее,— ровным глуховатым голосом, словно прислушиваясь к себе и не веря себе...

— Вот так с тех пор и живем мы здесь. Я эту школу как раз кончила, а сестренка еще учится в девятом. Ну, многие из блокадников обратно уехали, в Ленинград, а мы здесь остались. Понимаете, побоялась мамаша возвращаться в Ленинград,— не могу, говорит, не могу, мы ведь там такое пережили, вы не представляете...

— Нет,— ответила я,— представляю.

— Ой,— воскликнула она, словно обрадовавшись,— вы там были, в блокаду? До конца?

— Да. До конца.

— Ой... А сейчас вы... не оттуда?

— Оттуда. Всего две недели назад.

— Оттуда! — воскликнула она, и вдруг слезы брызнули у нее из глаз. Она засмущалась, постаралась засмеяться.— Ну, расскажите ж, какой он?

— Ну какой же он может быть? Чудесный, самый красивый! В этом году на Невском трамвай сняли... И на Большом на Васильевском тоже. И на проспекте Кирова... А за Московской — парк Победы совсем густой стал. Да, ведь вас уже не было, когда мы его сажали. Но он прекрасный! Следов блокады почти совсем не осталось...

Я рассказывала добросовестно, а все как будто не о том, не о главном, но она жадно спрашивала и спрашивала, перебивая иногда восклицаниями: «Ну да?», «Вот здорово!» — ее блокадное детство было для нее тем же, чем для меня угличское! — и вдруг, заторопясь, вытащила из сумки фотографию.

— А я здесь после школы замуж вышла, и вот сын, Вовочка, уже третий год, хотите взглянуть?

С фотографии глянула на меня толстая мордочка мальчугана с губами, вытянутыми в трубочку, и донельзя вытаращенными, очень удивленными темными глазами: наверное, фотограф показал ему какую-то особо удивительную «птичку».

— Вот он уже настоящий угличанин,— сказала молодая мать, любуясь удивленным сыном.— Но я его обязательно в Ленинград свезу,— горячо добавила она,— обязательно свезу, как только понимать начнет. И покажу ему все, и прочитаю, и о дедушке расскажу... Нельзя, чтоб дети про такое забывали... то есть он, конечно, не может помнить, я хочу сказать, надо, чтоб знали дети, что́ до них пережили, правда ведь? Если не возражаете, дайте ваш адрес, мы вас навестим обязательно.

Я подумала, что к тому времени, когда удивленный мальчуган «начнет понимать», пройдет по меньшей мере семь лет, по адрес свой дала и сказала, чтобы обязательно заходили, когда приедут, обязательно.

...Я вновь обошла участок, где когда-то было детство, где маленький, древний русский город Углич приютил нас, детей, в годы гражданской войны, в годы борьбы за власть Советов... и снова принял ленинградских матерей и детей в годы войны Великой Отечественной... а наше поколение уже воевало, обороняло Ленинград, и холод, голод и тьма блокады были стократно страшнее, чем в детстве, в Угличе... и я была на войне, в Ленинграде, вместе с папой, как равная... и пришел сверкающий День Победы, и в честь него мы заложили парки, теперь уже почти дремучие... А между этими двумя войнами была трактористка Зина Золотова, убитая кулаками, и сотни подобных ей — я помню их по работе в Казахстане, по первым большевистским веснам,— и строилась Угличская гидростанция — строилась совсем-совсем не так, как Волховстрой,— и часть древнего Углича безвозвратно ушла в воду, а гидростанция по мощи своей во много раз превзошла мечту детства, первую любовь молодой Республики — Волховстрой, но и она, эта гидростанция,— лишь одна из первых ступеней великой «волжской лестницы»...

О, какое большое время уложилось в жизнь каждого из нас, какое большое! Его хватило бы на несколько поколений, а приняло его — одно... Сколько событий, и почти каждое — твоя жизнь, сколько горя и радости, неразрывных с горестями и радостями всего народа. И вот не светлое чувство счастья, которое мечтала я встретить здесь, но нечто большее — почти грозное, открытое чувство своей живой с о п р и ч а с т н о с т и, кровной, жизненной связи со всем, что меня окружает, с тем, что уходит в землю и в воду, и тем, что воздвигнуто и воздвигается над землей и водой сейчас; с теми, кто в разные годы погиб за Родину, за коммунизм; с теми, кто строил Угличскую гидростанцию; с теми, кто рождается, растет и трудится здесь, в Угличе, в Ленинграде, во всей стране,— это всеобъемлющее сильное чувство, знакомое многим и многим советским людям, охватило сознание и сердце. И если жизнь моя так неразрывно сплетается с жизнью страны, значит, в ней остается все, вплоть до утрат, и все вместе с родной землей устремляется в будущее, к новым утратам, к новым возникновениям. «Это мое». Нет, это н а ш е. И все наше — это мое! Это мое!

...А монастырский корпус, где жили мы далекой зимой двадцатого года, и липы, и прудок я все-таки нашла и, забегая вперед, расскажу об этом.

Рисунок пером

Я нашла это все потому, что сначала отыскала одного старого своего учителя, учителя рисования. Он не помнил меня, конечно, но я вспомнила и даже узнала его, когда пришла в его кирпичный домик на самом берегу Волги.

Иван Николаевич Потехин, художник, старожил угличанин, мой старый учитель рисования, одну за другой показывал мне акварели, этюды маслом, рисунки карандашом и пером, изображающие старый, сказочный Углич, и вдруг так запросто и положил перед глазами этот тонкий рисунок пером, а на нем — детство, зима, счастье, на нем то, что снилось долгие годы, заветное место, к которому я так и не могла дойти во сне и не дошла наяву... А оно, оказывается, живо. И вот глядит на меня всей своей неуходящей прелестью. Оно живо, оно сохранено старым художником — этот корпус с нашим окошком, выходящим к липам и зимнему дворику. Как догадался он, что этот скромный рисунок так нужен будет чьему-то сердцу? Радость встречи этой, подаренной искусством, была, вероятно, глубже той, которую ждала я от жизни... Нет, не за прошлое держался старый художник, запечатлевая и этот угол монастырского двора, и стоящий теперь на дне Угличского водохранилища Паисьевский монастырь XV века, фиксируя облик Углича до возведения рядом с ним плотины, гидростанции, шлюза. О потомках, о будущем думал он, о наследниках, которые придут сюда принять все свое наследство и пожелают увидеть, а что же тут было много-много лет назад, и, увидев, по достоинству оценят бурное наше время, менявшее облик русской земли... Он думал, как большинство встреченных мною людей, не только о завтрашнем дне, но и о Большом Времени, простираю-

щемся далеко в будущее. Не мешает это, а помогает ему творчески, озаренно работать для дня сегодняшнего. Вот он ходит по деревням, зарисовывая старинную, еще сохранившуюся кое-где резьбу наличников, подзоров, коньков,— ведь резчики по дереву, как и гончары, здесь почти исчезли. Исчезают и образцы. Но они должны быть сохранены — чудесные в простоте, первородности и естественном изяществе образцы! Должны вновь появиться искусные молодые мастера, искусство резьбы не должно исчезнуть, ведь оно служит людской радости, украшению мирного жилья, его не заменить никаким машинным производством — здесь нужна мудрая и свободная человеческая рука... Вот он, невысокий и крепкий смуглый старичок, неутомимый краевед, бродя по лесу, обнаруживает под корнями вековой вывороченной ветром сосны кирпичи... Старые, массивные кирпичи... Он наклоняется, разбирает кирпичи, обнаруживает лаз, бесстрашно ползет туда на спине, чиркает спичкой и видит, что кирпичный свод над ним сияет десятками ослепительных красок с преобладанием голубых, желтых, зеленых — точно ушедшая в землю пышная радуга спряталась и окаменела здесь. Ему ясно — это печь для обжига немеркнущих знаменитых угличских изразцов, которыми изукрашены древние церкви возле его кирпичного домика, из которых сложены лежанки и печи в старинных бревенчатых домах Углича. Здесь они обжигались — на своде следы поливы, секрет которой еще не разгадан, которая так нужна была бы нам и для облицовки наших зданий, и в керамическом современном производстве. Значит, оно действительно было в Угличе, и его тоже можно возродить, тем более что возле города огромные залежи прекрасных жирных, пластических глин и редкие по качеству каолиновые глины. И вот Иван Николаевич из этих великолепных глин лепит опытные фигурки, вазочки, утварь, с большим трудом, кустарным способом обжигает их, и все же обжиг дает прекрасные результаты. Здесь сама природа, сами исторические традиции подсказывают: возродить керамическое производство, и старый художник предлагает создать студию, объединить и воспитывать кадры художников — резчиков, керамиков — тружеников, которые уже сейчас могли бы украшать быт горожан и колхозников. Его никто не обязывает к этим зарисовкам, изысканиям, опытам (так же как никто и не помогает ни в чем!),— его обязывает к этому

личное, государственное сознание долга перед сегодняшним днем, перед будущим, перед наследниками.

...Но я была у Ивана Николаевича через несколько дней после встречи с «моим собором», а в то утро, простившись около него со своей землячкой, вернулась к себе в гостиницу.

«Серебряная ночь»

Я вернулась в свою комнату с померкшим старинным зеркалом и пышными геранями и, еще раз с наслаждением почувствовав, что я — у себя, дома, больше «у себя» в настоящее время, чем где бы то ни было, раскрыла тетрадь, чтобы записать о встрече с «моим собором», с молодой ленинградкой, и вдруг мне неудержимо захотелось писать не об этом, но об одной ночи в конце сентября сорок первого года...

...*Уже сгорели* Бадаевские склады — продовольственные запасы Ленинграда, и когда они горели, маслянистая плотная туча встала до середины неба и закрыла вечернее солнце, и на город лег тревожный, чуть красноватый сумрак, как во время полного солнечного затмения,— первый вестник голодного мора, уже вступившего в наш осажденный город. Но мы еще не знали об этом. Я была в те дни политорганизатором (комиссаром) нашего дома, а Николай Никифорович Фомин — начальником группы самозащиты. Мы были взволнованы странной листовкой, которую разбросал во время последней бомбежки немец, уже после пожара Бадаевских; она состояла из одной только фразы: «Ждите серебряной ночи», и, конечно, внизу подлая виньетка и буквы «шт. в з.» — что означало «штык в землю». Мы боялись, что листовка все же попала к населению, потому что некоторые женщины у нас на дворе стали говорить, что «он обещал газы»... Но газов, конечно, не было, а через несколько дней, около 12 ночи, Фомин постучал ко мне и сказал, что пришел приказ группе самозащиты быть «на товсь». Мы расставили усиленные посты и встали у подъезда. Не было ни обстрела, ни тревоги, ясный-ясный лунный сентябрьский вечер властвовал в

городе, уже прекратилось движение, и в этой тишине вдруг слабо, но отчетливо мы услышали рокот полевых орудий.

— Немцы взяли Стрельну,— сквозь зубы сказал мне начгруппы самозащиты,— прорываются к «Красному путиловцу»...— И вдруг простонал: — Поз-зор... о, позор, позор... куда пропустили...

— Серебряная ночь, Николай Никифорович? — также сквозь зубы, сдерживая внезапную противную дрожь, спросила я.— Быть может, вас кем-нибудь заменить?

— Ерунда,— крикнул он,— я не мальчишка! Займите пост у подъезда, я на крышу... О боже...

(Через три месяца он умер от истощения, по дороге на работу, на Литейном мосту.)

Я встала у подъезда, приготовила «на товсь» санитарную сумку и противогаз; дворничиха тетя Маша, сухонькая, тихая старушка, подошла ко мне, доложила, что бутылки с горючим (на случай прорыва танков к нашему дому) наготове, и встала рядом, по-деревенски пригорюнившись. Убийственная тишина царила в лунном неподвижном городе, звуки смертного боя, идущего на окраине, доносились сюда, в центр, как слабый, смутный гул...

Я глядела на наш дом; это был самый нелепый дом в Ленинграде. Его официальное название было «дом-коммуна инженеров и писателей». А потом появилось шуточное, но довольно популярное тогда в Ленинграде прозвище — «слеза социализма». Нас же, его инициаторов и жильцов, повсеместно величали «слезинцами». Мы, группа молодых (очень молодых!) инженеров и писателей, на паях выстроили его в самом начале тридцатых годов в порядке категорической борьбы со «старым бытом» (кухня и пеленки!), поэтому ни в одной квартире не было не только кухонь, но даже уголка для стряпни. Не было даже передних с вешалками — вешалка тоже была общая, внизу, и там же, в первом этаже, была общая детская комната и общая комната отдыха: еще на предварительных собраниях отдыхать мы решили только коллективно, без всякого индивидуализма. Мы вселялись в наш дом с энтузиазмом, восторженно сдавали в общую кухню продовольственные карточки и «отжившую» кухонную индивидуальную посуду — хватит, от стряпни раскрепостились,— создали сразу огромное количество комиссий и «троек», и даже

архинепривлекательный внешний вид дома «под Корбюзье» с массой высоких, крохотных железных клеток-балкончиков не смущал нас: крайняя убогость его архитектуры казалась нам какой-то особой «строгостью», соответствующей новому быту... И вот, через некоторое время, не более чем года через два, когда отменили карточки, когда мы повзрослели, мы обнаружили, что изрядно поторопились и обобществили свой быт настолько, что не оставили себе никаких плацдармов даже для тактического отступления... кроме подоконников; на них-то первые «отступники» и начали стряпать то, что им нравилось,— общая столовая была уже не в силах удовлетворить разнообразные вкусы обитателей дома. С пеленками же, которых в доме становилось почему-то все больше, был просто ужас: сушить их было негде! Мы имели дивный солярий, но чердак был для сушки пеленок совершенно непригоден. Звукопроницаемость же в доме была такая идеальная, что, если внизу, в третьем этаже, у писателя Миши Чумандрина играли в блошки или читали стихи, у меня на пятом уже было все слышно, вплоть до плохих рифм! Это слишком тесное вынужденное общение друг с другом, при невероятно маленьких комнатах-конурках, раздражало и утомляло. «Фаланстера на Рубинштейна семь не состоялась»,— пошутил кто-то, и — что скрывать? — мы часто сердились и на «слезу», и на свою поспешность.

И вот мы ходили с дворничихой тетей Машей от подъезда до калиточки и, напряженно вслушиваясь в неестественную тишину ночи, глядели на наш дом, тихий-тихий, без единого огня, в серебряном лунном свете видный со всеми своими клетками-балкончиками на плоских серых стенах...

— Хороший дом,— нежно, как о ребенке, сказала тетя Маша и добавила: — Ничего... отобьемся.

«Хороший дом, правда»,— подумала я, и вдруг неистовая, горячая волна любви к этому дому, именно такому, как он есть, взмыла во мне и начисто смела остатки страха и напряжения.

Хороший дом, нет — отличный дом, нет, самое главное — любимый дом! В нем всегда зимой было светло и тепло, а какие хорошие коллективные вечера отдыха у нас были: приходил и пел свои песенки Борис Чирков — живой Максим из «Юности Максима», показывал нам

новые работы свои Бабочкин — живой Чапаев,— обе картины только что вышли тогда. «Тетя Катя» — чудеснейшая Корчагина-Александровская нередко бывала у нас и вдруг за столиком, импровизируя, «выдавала» такое, чего никогда не увидишь в театре; был один раз даже какой-то прогрессивный красавец индус, про которого говорили, что он «бывший магараджа», и Миша Чумандрин здорово агитировал его за революцию — главным образом жестами и лозунгами, произносимыми на им самим изобретенном эсперанто: «Империализмус нужно — финн! Понятно, камрад?..» Вообще Миша Чумандрин, когда выпивал, то обязательно таинственным, сдавленным голосом — в шутку, конечно,— произносил среди узкого круга лиц тосты: «Хай живе наша ридна червонна Булгария... Хай живе наша ридна червонна Хермания...» Мы очень смеялись, внимая этим тостам — в тридцать втором году!.. Но каким прекрасным был вечер, когда антифашистский певец Эрнст Буш пел нам в комнате коллективного отдыха песни Красного Веддинга и взмахивал головой, давая знак, чтобы мы подхватывали припев, и мы с искренней верой и горящими глазами подпевали ему в темпе марша: «Левой! Левой! Ты придешь, товарищ, к нам... Ты придешь в наш единый рабочий фронт, потому что рабочий ты сам!»

«Нет, мы не отдадим нашего дома. Мы любим его. Не за удобства, да их и немного — неудобств куда больше! Мы любим его просто так, потому что он наш, часть нашей жизни, нашей мечты, наших дерзаний, пусть не всегда продуманных, но всегда искренних, а неудобства... что ж, их ведь можно поправить! Мы сами их наворотили, сами и исправим, все поправим, все в наших руках... А если этот, данный дом не исправить, то мы просто будем строить другие, лучше! Будем, будем!»

А ночь была серебряно-лунной, невероятно тихой, и только на заре нам дали распоряжение оставить обычные посты вместо усиленных,— враг был задержан на ближних подступах к Ленинграду.

Мне вспомнилась почему-то именно эта ночь после встречи с собором и разговора с моей землячкой, и захотелось записать об этой ночи и об истории нашего дома вообще, но я ничего не записала тогда, только посидела и страшно, до слез, пережила ту ночь заново, глядя на герани.

Я написала «почему-то», но это тогдашнее ощущение. Теперь я знаю, почему вспомнилась мне именно эта ночь, как знаю и то, почему все три недели жила в Угличе необычной жизнью — прошлым, настоящим и будущим сразу, жила всей жизнью.

Лето прошлого года

Это было, конечно, потому, что я была в городе детства в знаменательные для всей страны дни: еще не прошло и пяти месяцев со дня смерти Сталина; совсем недавно было заключено перемирие в Корее; только что было сообщено о разоблачении проклятого врага народа — Берия... Я вместе с угличанами слушала и обсуждала тезисы к пятидесятилетию Коммунистической партии Советского Союза, праздновала это великое пятидесятилетие вместе с угличским комсомолом. Как и всем остальным, мне было не только понятно, но всем сознанием ощутимо, что та великая работа, которая была начата Советской властью в годы моего детства — когда трудящихся угличан горкоммуна переселяла в барские особнячки и монастырские покои и, несмотря на блокаду четырнадцати держав, и тьму, и холод, Советы стремились, чтобы вся страна стала грамотной, и пожилые женщины в классах нашей школы с волнением, удивляясь себе, начинали читать: «Мы — не ра-бы, ра-бы не мы», а в это время на Волховстрой питерский рабочий Алексей Васильев привел первый полукубовый экскаватор, чтобы начать закладку первого источника света и силы,— эта великая работа развертывалась ныне по-новому, брала новый исторический подъем.

Я встречалась в Угличе, Ярославле и Рыбинске с десятками различных людей, главным образом интеллигенцией — газетными работниками, архитекторами, учителями, библиотекарями, молодыми художниками, инженерами, встречалась и с рабочими Угличской ГЭС, на которой встретила я и ветеранов-волховстроевцев, и ровесников-днепростроевцев,— и о чем бы мы ни говорили, огром-

ные события прошлого года, перечисленные мною, вплетались в наш разговор или стояли за ним так, как стоит, бывает, над омытой грозой равниной высокая, ясная радуга.

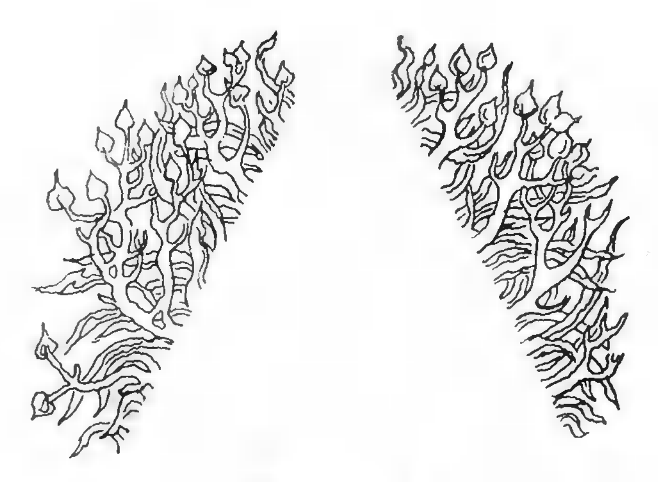
...И каждый раз, возвращаясь в свою комнатку с геранями, я записывала не только пережитое и увиденное за сегодняшний день (многое было потом из этого опубликовано в очерке, в «Литературной газете»), но обязательно заносила на поля сегодняшнего все, что заново начинало жить во мне. А начинало жить разное и неожиданное. Например, вдруг заново переживала я вечер перед двадцатипятилетием Октября в блокированном Ленинграде, когда после долгой, изнурительной тьмы дали первый ток — свет на первые три тысячи жилых объектов, то есть домов, и этот свет был с Волховстроя, первенца электрификации, детища Ленинграда: он первый прорвался к нам из-за кольца. И в тот вечер, когда дали свет, в вымерших квартирах вспыхнули окна, ведь они были не затемнены, а немец бомбил, и надо было срочно гасить свет в этих жилищах — взламывать двери, чтоб войти туда... Но главное — в том, что маленький Волховстрой всю блокаду питал своим светом и силой колыбель революции... Но об этом надо подробно, очень подробно! Это ведь тоже все для Главной книги, как и все, что было в Угличе. То вспоминала, как монтировали первый наш электросиловский генератор на Днепрогэсе — его назвали «Ворошиловским», потому что почти все, кто его монтировал, сражались в дни гражданской войны под командой Ворошилова,— но это было еще в дни ранней юности. И вот шла через меня вся юность, со всеми ее белыми ночами, с ее ясной, простой любовью, с ее фанатической верой в то, что далекое, прекрасное будущее ты можешь заставить прийти завтра же, запросто, вот в этот дом,— шла вся молодость и обрывалась большим и страшным испытанием конца тридцатых годов...

...То записывала я после встреч с архитекторами и художниками, какими должны быть силуэты будущих волжских городов, и как мы откроем и освоим все древние секреты русских безымянных гениальных зодчих и художников и узнаем их славные имена, и какая превосходная многообразная живопись у нас будет, и мы все это вручим наследникам, потомкам (среди них будет и удивленный Вовочка моей землячки, который уже будет «все понимать»), и, сидя в одиночестве, не могла сдержать широкой, неуходящей улыбки, представляя их восторг и благоговение перед нашей эпохой, перед этим годом, перед партией, перед нами...

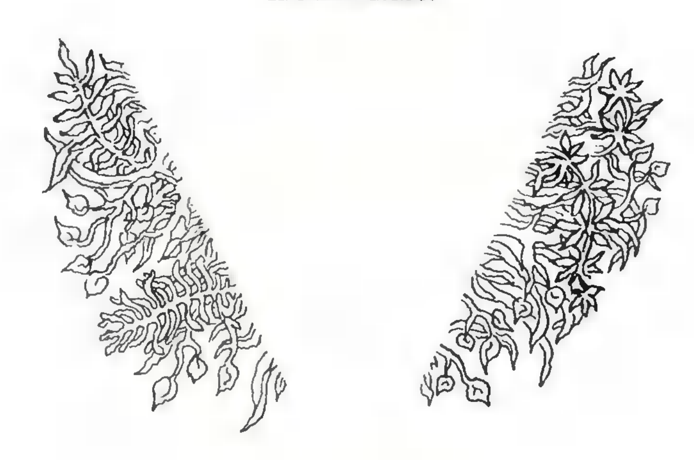
Так, вместе со всей страной пережив громадные события 1953 года, сердце вместе с нею готовилось к какому-то новому восхождению.

На этом пока я обрываю записки о поездке в город детства...

1954



Та самая полянка



Поздно вечером пришел мой папа и заявил, что останется у меня ночевать.

— А завтра я поведу тебя в Зоологический сад,— прибавил он строго.— Да, да. Утром. Обязательно.

«В градусе,— отметила я,— только бы «Гаудеамус» не стал исполнять...»

В градусе мой папа бывает редко, но зато градусы у него самые разнообразные. В градусе наиболее низком, в так называемом «недо́пиние», он брюзглив и придирчив: разносит порядки на хирургическом отделении (которым сам же заведует!), жестоко бранит местком, куда его «нарочно все время выбирают», громит райздрав и назойливо требует от меня — именно от меня — ответа, «почему все эти безобразия творятся?».

В градусе чуть повыше он сосредоточен, серьезен, с нежностью вспоминает страшные фронты мировой и гражданской войн, на которых служил военно-полевым хирургом с первого дня мировой вплоть до кронштадтского льда, обсуждает вопросы международной политики — «мой прогноз таков...» — и очень сердится, если его прогнозы оспариваешь.

В градусе самом благоприятном он шумно и весело куролесит: без поводов рукоплещет, поет старинную невскозаставскую песенку, как все такие — печально-веселую:

А носил Алеша кудри золотые!
Пел великолепно песни городские...—

и встряхивает при этом все еще волнистой золотисто-седой шевелюрой, декламирует отрывки из державинского «Бога» и — старый дерптский студент — обязательно стремится (басом!) исполнить «Гаудеамус». В этом состоянии его одолевают самые необычайные желания: «родить еще ребеночка», «написать трагедию в стихах» или — вот как сегодня — в пожарном порядке тащить меня, взрослого, ответственного, замученного к тому же «личным делом» работника редакции,— в Зоологический сад.

— Ох, папа,— сказала я,— ты же знаешь: мне некогда. И... не до того!

— Ну, ну, ну! Оставьте ваши штучки. Я тебе отец или нет? Я тебя породил. Сказал — поведу, и поведу.

Он помолчал и вкусно, значительно добавил:

— *Льва увидим. Царя зверей.*

Я невольно улыбнулась. Заметив это, папа пришел в восторг и захлопал в ладоши.

— Мамонька родная, я ведь тракторист! — закричал он, куролеся, и, вдруг став совершенно серьезным, негромко спросил: — Ну, а дела твои как?

Я оживилась. В то время два человека подали на меня кляузное заявление, и разбирательство тянулось уже долго-долго... Это томило и мучило меня, это было неотступно, я могла говорить о «моем деле» в любое время суток сколько угодно, я мысленно произносила бесконечные патетические речи и вела горькие внутренние диалоги с редактором, с секретарем парткома, с моими обвинителями, я даже во сне видела только это...

— Ты знаешь, папа,— заговорила я,— они опять отложили окончательный разбор! А на прошлом собрании редакции эта Климанчук несла такое... такое... что я просто... Нет, я этого так не оставлю! Я сама подам на нее заявление, понимаешь, сама! И сразу в наивысшую инстанцию... А сейчас я пишу новую, очень подробную объяснительную записку по поводу той статьи. В этой записке...

Я, горячась и терзаясь, излагала суть записки, а папа смотрел на меня пристально, совершенно трезво и только

поминутно вставлял докторские реплики: *«ну-ну», «да-да», «так-так»*.

— Ой, страхолюдная же ты стала! — вдруг воскликнул он, не дослушав меня.— Ой, психопаты вы, господа, все-таки... Ну, ладно. Ложись спать, завтра нам рано ехать. Я тоже ложусь... «Я царь, я раб, я бог, я червь».

— Ложись. Я еще посижу, напишу черновик заявления. Не того, и другого. По поводу другой моей статьи... Я сейчас принесу тебе матрас.

— Не надо. Я старый солдат, обойдусь без матраса. «На нем треугольная шляпа и серый походный сюртук».

— Папа, только без пения! У меня и так голова скрипит.

— Ну, *ладно, ладно*. Отец я тебе или нет? Ох, *тяжелый* случай...

Он улегся на жесткой и очень узенькой кушетке, а я закрыла лампу газетным кульком и уселась перед листом бумаги. Мне было очень одиноко, потому что папа не дослушал про «мое дело», и ничего вообще не понимает ни в нем, ни в моем состоянии, и неизвестно чем доволен, а я... Как это все-таки противно — даже не дослушал... и я...

А он вдруг окликнул меня ласково и грустно:

— Лялька! Девчонка...

— Ну что, папа?

— А помнишь, как в Заручевье я и мать не пустили тебя с Муськой за грибами? На какую-то вашу полянку... Давно дело было... Ревели-то вы как, господи...

— Ах, папа, ну отстань, какая еще там полянка! Не мешай...

Он замолчал.

Я сидела долго, томилась, подбирала формулировки, мысленно бранилась с Климанчук, курила до сердцебиения. Меня душила обида — было ужасно жалко себя, и твердила *шепотом: «Устала, устала, совсем устала...»*

Я уснула на рассвете, мне снилось какое-то собрание, и вдруг в разгар этого собрания послышался папин голос:

— Лялька-а! Вставай! В Зоологический едем!

Я с трудом разлепила глаза: «Не забыл...»

— Папа, еще десяти нет. Куда мы в такую рань попремся?

— Вот и хорошо, что рань: там в десять как раз открывают. Вставай, посмотри — какое солнышко-то! Ну-ну, давай побыстрее...

Он был весел, бодр, необыкновенно деятелен, его лицо с большими голубыми глазами было лукавым, как у человека, который задумал удивить мир, и злил он меня всем этим до изнеможения.

В старом своем военном картузике, который я помнила с детства, в коротком пальто реглан, похожем на бабью юбку, папа бежал по улице так, точно опаздывал на поезд. Я семенила за ним и тихо ругалась. В трамвай мы вскочили на ходу.

А возле Зоологического сада не по-городскому пахло прохладной осенней землей, деревья стояли бронзовые, строгие и не шевелились, замерев, точно понимали, что чуть теплый, бледно-золотой солнечный свет льется на них в последний раз. Строгость, умиротворенность и милая прозрачность осеннего дня кольнули меня, как льдинкой, особой грустью — тоже строгой, умиротворенной и прозрачной.

«А ведь мне уже много лет»,— подумала я.

А папа сладко жмурился, подставлял лицо солнцу, круглыми своими ноздрями втягивал острый воздух, ежился и блаженно крякал.

— Ай, хорошо! Ну и хорошо! Что? Довольна, девчонка, что поехала? Жалко, что Муськи с нами нет. Помнишь, как осенью, в Заручевье, мы вас с Муськой за грибами не пустили? На какую-то вашу особую полянку?

— Ну, помню. Ну и что?

Он раздражал меня бесконечно.

— Гиены,— с удовольствием отметил он, когда мы подошли к клеткам.— Ишь, сволочи. Хохотать умеют. Смотри, как вон эта — рыщет, а? А вонь-то от нее, мамочка...

«Типичная Климанчук»,— определила я про себя и угрюмо улыбнулась.

— А вот тигры, Лялька, смотри, тигры. Шика-арные звери, верно?

— Похоже, что они из тигрового одеяла сшиты,— ответила я.— Неправдоподобные.

— Ну нет, это ты напрасно. Красивые звери. Мне нравятся. Ну, а это тебе львы. Их скоро кормить будут (папа вдруг ужасно озаботился, вытащил из жилетного кармана дедушкины часы, луковкой, взглянул на них, даже послушал). Да, ведь верно, кормить скоро будут. Ну, ничего, я тебе покажу, как их кормят.

— Да не надо мне, господи. Дожидаться тут, что ли... кормежки ихней. Ты лучше посмотри, какие они плешивые.

Точно топтались на них. И морды дурацкие. Тоже — царские! Как у Николая Второго...

Папа неуверенно хохотнул.

— Ну, пойдем, папа. Посмотрели. Да и смотреть-то не на что.

— Львы эти, действительно, немножко... того,— говорил папа смущенно, но еще бодро.— А вот медведи тебе понравятся. Они, знаешь, играют, кобенятся. Мы вот сейчас птиц посмотрим, потом к разным там коровам зайдем, и — к медведям. Ладно? А уж потом дальше. А? Хорошо?

— Как хочешь, папа.

Мы стояли у клетки с птицами. Тошнотворно пахло птичьим пометом, вода в неглубоком круглом бассейне была загаженной, грязной. А вокруг бассейна аккуратнейшим кружком расположились птицы: пузатый пеликан неподвижно созерцал плавающую в воде корку; рядом с ним замерла, вытянув шею и прикрыв глаза белесой пленкой, неопрятная курочка; за курочкой торчала на одной ноге какая-то востроносенькая, ехидного вида птичка с хохолком, и так далее. Все они почему-то находились в полном оцепенении, точно были чем-то сильно озадачены.

— Заседание нашей редакции,— определила я немедленно и уныло.

Папа тяжело вздохнул и промолчал. Мы молча подходили к загородке с пони.

— Ну, а это пони,— сказал папа,— конечно, так себе. Мелкая лошадь... Тебе они тоже не понравятся...

Что-то в голосе папы удивило меня. Я бегло взглянула на него: лицо у папы было старое, разочарованное и... да! — пристыженное.

«Чего это он скис?» — подумала я, и вдруг меня как ударило: да ведь папа хочет, чтоб я удивлялась и радовалась, как в детстве! Ведь он не в Зоологический сад прогулку придумал — в мое детство, в свою молодость. А я-то брюзжу, а я-то ничего не вижу вокруг — ни золотых деревьев, ни забавных зверей, ничего, кроме страшных образов своей тоски, а я-то — старая...

— Ну, пойдем,— уныло уронил папа.

Но я воскликнула с увлечением:

— Нет, папочка, подожди, подожди! Я хочу еще посмотреть на лошадку!

— Ну, посмотри,— недоверчиво сказал папа, но немного смягчился.

— Нет, вот эти мне наконец нравятся,— восхищалась я, дрожа от жалости и любви к отцу и зорко следя, чтобы не переиграть.— А какая она маленькая! Отчего это она такая маленькая, а, папа?

— Да уж порода такая — пони.

— А это «пони английский», папа. Знаешь, он лучше того, красивей.

— Да как будто бы получше. Мордастый!

— Нет, не как будто, а определенно красивей. А вот интересно — ездить на нем удобно? Ужасно хотелось бы прокатиться... Ведь в Англии на них катаются, верно?

Я уже не знала, как угодить ему!

— Ну, зачем же сразу в Англию? Вон ребята едут! — веселея, сказал папа.

Действительно, к нам приближалась таратайка; она дребезжала, как консервная банка, сердитый, очень волосатый пони тащил ее. В таратайке глубоко, по самую шею сидело четверо детей в пушистых беретах, мальчик-служащий чмокал и правил, а за таратайкой семенила маленькая лохматая-лохматая собака с пучками шерсти над глазами. Все — и пони, и дети, и мальчик-служащий, и даже шерстяная безглазая собака — были очень серьезны, надуты, важны, все казались какими-то очень деловитыми, точно торопились на службу или даже выполняли ответственнейшее задание.

— Ну, хочешь, прокачу? — повторил папа и подмигнул.— Я могу!

— Ужасно хочу! Только... папочка, пожалуй, это не совсем удобно?

— Ну, тогда пойдем дальше. Нам еще много надо посмотреть.

— Да, да, пойдем. Я к обезьянам хочу,— воскликнула я, радуясь, что удалось обмануть папу.— Ты знаешь, я ужасно люблю обезьян. Особенно человекоподобных... Я так давно хотела посмотреть на них.

Мы тронулись к обезьяннику. Я взяла папу за руку и, нарочно чуть-чуть отставая, шла рядом с ним, как самая примерная дочка. Папа сиял.

— Хочешь, вафлю куплю? — спросил он.— Большую, с кремом?

— Ну конечно. Очень.

— Что, вкусная?

— Спрашиваешь. Прелесть!

Крем по запаху и, вероятно, по вкусу напоминал земляничное мыло, а в самой вафле, несомненно, уже появилась древесина. Я ела, давясь от отвращения, осыпая себя фанерными крошками, папа курил, золотые деревья неподвижно стояли над нашей скамеечкой, наслаждаясь последним солнцем. Рядом на скамеечке молодая женщина надевала трехлетнему сыну тупоносенькую тусклую галошку. Толстая ножка мальчика болталась, как ватная, мать никак не могла поймать ее в галошку и, ловя, спрашивала нежно и певуче:

— Ну, Вовочка, как же мы расскажем нашей бабушке — что мы видели в Зоологическом саду?

И мальчик отвечал, старательно морща круглый лоб и вытягивая губы в трубочку:

— Видели... большого слона-а... Большого велиблюда... и ма-аленькую лошадинку.

При этом про слона и верблюда он сказал басом, а про «*маленькую лошадинку*» тоненьким-тоненьким голоском пропищал.

Я наконец справилась с вафлей.

— Замечательно. Теперь, папочка, попить. Только, пожалуйста, с сиропом.

— У вас какие сиропы? — строго спросил папа продавщицу.

Продавщица с пышными, бумазейно-красными щеками отвечала, увеличивая в голосе восторг при каждом новом названии:

— Клюква. Вишня! Свежее сено!! Чайный не́ктар!!!

Я выбрала «свежее сено» пополам с «чайным не́ктаром» — кутить так кутить!

Пока я пила, папа смотрел на меня с тревогой:

— Не очень холодная?

— Нет, ничуть.

— А помнишь, Лялька,— спросил он в третий раз,— как вы ревели, когда мы с матерью не пустили вас за грибами?

Я закивала головой. Он счастливо засмеялся.

— Как вы ревели с Муськой, как вы ревели, господи! Три часа подряд. Я думаю — сколько же они еще проревут?

— Еще бы! День-то какой был! Самый грибной. Дождичек моросил, такой светлый-светлый, мокрыми елками пахло, на той полянке маслят полно, а вы... Что? Теперь-то небось, через пятнадцать лет, жалко нас стало?

— Жалко... И тогда было жалко, да мать испугалась — дождь. Ну, мы и не пустили вас.

Папа взглянул на меня виновато и счастливо. Как я любила его! Мне хотелось увести его еще дальше, еще ближе к его молодости, и добрая память сразу открыла туда тропинку.

— А ты помнишь, папа, как мы были в Зоологическом, когда ты приезжал с германского фронта?

Он изумился.

— Ну? Неужели ты помнишь? Ты же тогда совсем щенком была?

— Вот,— а помню. У ворот тогда стоял такой киоск — огромная золотая бутылка, лимонад продавали. А мне больше всего хотелось посмотреть на Серого волка, который Иван-царевича возил... Я и волка помню! А ты был в военном... А потом мы все снимались, и я снималась у тебя на коленях и держалась за твою шашку. И мне из-за этого казалось, что я ужасно храбрая. Ты помнишь, папа?

— Да я-то помню, но ты... Лялька! А ведь красивый я тогда был, а? Кудрявый! — И, тряхнув головой, он тихонько загудел:

А носил Алеша кудри золотые!
Пел великолепно песни городские...

Эх! И усы у меня были — помнишь, какие усы?

— Ну как же, Муська еще говорила: «У папы под носом хвостики растут...» А ты все время подкручивал их и пел: «Усы мои, у́сыньки, перестали виться, баба моя барыня стала чепуриться...»

— Постой, постой,— папа замахал рукою: — «Чепчик носит, чаю просит, нельзя подступиться». Так?

— Не всё! — торжествуя, сказала я.— «Дали бабе весь мундир, баба стала командир!» Это ж военная, фронтовая песня была...

Смеясь, счастливые и оба молодые, мы подошли к обезьяннику.

Как обычно, возле обезьян было больше всего народу. Озябшие, сизые мальчишки, перевесившись через барьер, как Петрушки, с восхищением и завистью следили за дракой двух молодых макак и поощряли их советами и возгласами.

— Двинь его, двинь!

— Эй, ты, сюда! Вон она, на ветке.

— Хватай ее за хвост! Хватай задней рукой!

За сизыми мальчишками топталась парочка: черненькая миниатюрная девушка и молодой человек с такими огромными ватными плечами, что был похож на киоск. Девушка глядела на обезьян с восторгом, взвизгивала и смеялась, но сразу спохватывалась и, заглядывая спутнику в глаза, степенно спрашивала:

— Женечка, правда, какие они оригинальные?

— Чудаки,— снисходительно отвечал парень.

А обезьяны жили самостоятельной, буйной жизнью, полной трудов и хлопот. Им было наплевать на зрителей,— они были заняты, они все что-то делали. Одна растрепанная макака заботливо выталкивала из клетки поилку. Поилка была вдвинута плотно, макака подпихивала ее то справа, то слева. Другая макака сидела на корточках рядом и с глубоким вниманием наблюдала за работой подруги. Когда ей казалось, что товарищ не справляется с намеченной задачей, она бурно ввязывалась сама, но так как она была глупее первой, то тянула поилку назад. Наконец поилка неожиданно выскочила из клетки. Обе обезьяны на минуту остолбенели — они поняли, что сделали что-то не то. Тогда они стали высовывать худенькие ребячьи ручки и воровато трогать поилку, как бы желая убедиться — тот это предмет или нет? А в клетке рядом седой, бородатый и мужественный павиан деловито тряс сетку: схватится цепкими кулачками за сетку, потрясет и посмотрит — не вышло ли чего? Ан все по-старому! Тщета седобородого павиана была такой нелепо-человеческой, что я окончательно развеселилась.

«Вот это про меня, я — дура»,— подумала я без всякой обиды, захохотала и оглянулась на папу.

Он смотрел на меня с радостью; сам он находился в том состоянии наивысшего довольства и доброты, когда у человека остается одно желание: расточить эту доброту. Он сказал:

— Ну, а теперь я покажу тебе слона.

— Ах, ведь еще слон! Пойдем скорее!

Играть мне было уже легко и интересно. Да нет, я уже и не играла, а жила этой внезапно возникшей радостной и милой жизнью...

— Ой, папа, какой он огромный, а уши-то какие,— суетилась я около загородки, и, должно быть, так хорошо получалось у меня детское изумление, что какой-то испитой дяденька, удивительно похожий на тушканчика, заботливо пропустил меня вперед, как маленькую. Но мне даже показалось, что это в порядке вещей!

— Папа, а хвост? — надрывалась я.— Ужасно до чего непропорциональный хвост. А интересно, как его зовут?

— Их зовут Бетти,— почтительно сказал дяденька, похожий на тушканчика.— Они — дама.

Бетти стояла огромная, равнодушная, почти безглазая. Только потрескавшийся хобот двигался из стороны в сторону, да иногда переступали столбообразные, тяжкие даже на взгляд ноги.

«Если есть судьба, то она похожа на Бетти»,— подумала я и, испугавшись этой «недетской» мысли, воскликнула:

— Папа, смотри, он пятачок подобрал!

— Ага. Сейчас морковку себе купит. Соображает, как же!

— Они, действительно, работают,— вставил дяденька-тушканчик.— Они сознательные.

— Папа, купил, купил! Ест! Ах, как интересно!

Папа, порывшись в кармане, достал монетку и протянул ее мне. Это был гривенник, весь облепленный табачной трухой.

— На,— сказал папа,— купи слону морковку.

И я с блаженно-глупым лицом бросила слону гривенник. Гривенник мелькнул под самым хоботом Бетти, лихо прокатился под ее чудовищным туловищем и, немного повертевшись, улегся за слонихой, как раз под самым хвостом.

— Эх, неаккуратно,— воскликнул дяденька-тушканчик.— Они не повернутся.

— Не повернутся,— подтвердили в толпе.

«Если слон найдет мой гривенник — мое желание исполнится, меня не исключат»,— подумала я, и меня бросило в жар: я искушала Судьбу.

— Не найдет,— точно отвечая моим мыслям, крикнул кто-то.

Огромный хобот Бетти-судьбы ощупывал бетонную площадку. И все не там, все не там! Вот он пошарил справа, потом около решетки, потом замер, чуть покачиваясь. Все кончено. Я вцепилась ногтями в ладони. И вдруг моя судьба, медленно переставляя страшные слоновьи ноги, повернулась к любопытствующим зрителям задом, вытянула хобот и — цоп! — поймала мой гривенник.

— Исполнится,— взвизгнула я, вцепившись в папин рукав.— Все будет хорошо,— ты понимаешь?

В глазах у дяденьки-тушканчика мелькнул ужас. Зрители ахнули. И только папа, мой папа — понял ВСЁ.

— Ну как же не понимаю?! — закричал он сердито, но мне показалось, что из больших глаз его сейчас брызнут слезы.— Все исполнится! Ну, пошли, девочка. Теперь все посмотрели. Понравилось?

— Очень, папочка, очень! Особенно слон.

— Ну-ну, я рад. Ну, ты куда? К трамваю? А я — налево. К Дяде. Помнишь Дядю? Ну, неужели не помнишь?

— Постой, постой... кажется, что-то припоминаю... Ну да — Дядя...

— Ну как же, Дядя — Мишька Волохин, мой дерптский коллега... Гм... А ведь ты действительно, пожалуй, не помнишь его,— ведь тебя тогда еще на свете не было. Ну как же — учились вместе, «Гаудеамус» пели...

И папа загудел, хотя вовсе не был в градусе:

— Гаудеамус игитур...

«Как мы далеко сегодня ходили с тобой»,— думала я, глядя вслед старому, с детства знакомому военному картузику и короткому пальто реглан, похожему на бабью юбку. И мне было очень приятно, что я такая умная и хитрая, так тонко провела папу и доставила ему радость — прогулялась с ним в его молодость. Но тут же мелькнула догадка: а ведь папа сейчас идет и радуется тому, что он такой умный и хитрый и так ловко увел меня в детство от тяжких моих дел. И оказалось, что его молодость и мое детство — здесь, рядом с нами, со всем их счастьем и светом — а ведь это и есть жизнь, настоящая жизнь — счастье и свет... А мои дела...

«Да, но ведь это же просто ерунда, мои дела,— вдруг изумилась я,— это — тяжко, обидно, но ведь это — пройдет, и это не главное. А главное — Жизнь. И Жизнь у меня есть, она со мной, я рада ей, я люблю ее... И разве на свете одна Климанчук и подобные иже с нею?! А редактор? Как он терпеливо и заботливо выясняет эту путаницу. Он хороший... И райкомовец хороший — он возился вчера с одним пунктом весь день... А мой папа,— какой он хороший и добрый! Их много, добрых! Если есть добрые — есть жизнь. Она есть, есть!»

И я целый день шаталась по золотому, прозрачному осеннему городу и, вспоминая Зоологический, детство, папу,

слона,— смеялась, а люди думали, что это я им улыбаюсь, и некоторые обиженно удивлялись, а другие смеялись мне в ответ сами.

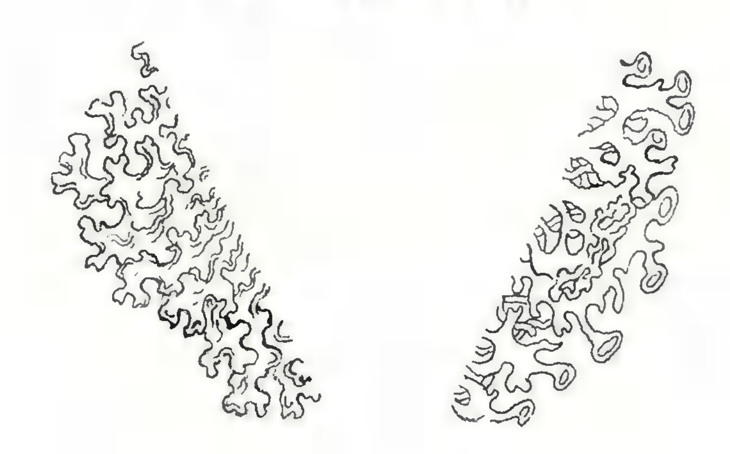
А ночью я видела свой любимый сон. Их два у меня, любимых сна, очень похожих друг на друга. Мой первый, самый главный и любимый сон — это про Углич, про город, где мы жили, пока папа воевал на гражданской,— я уже рассказала об этом. А второй мой любимый сон — это как раз про ту самую полянку, куда не пустили нас родители в светлый дождливый день за грибами маслятами. Она была в Новгородской губернии, возле деревни Заручевье, куда ездили мы на каникулы несколько лет подряд. И вот мне снилось, как я иду к той самой полянке — так, как и ходили мы в отрочестве,— по узенькой тропочке через очень густую, старую ольховую рощу, полную тревожного, несомненно что-то значащего сумрака, и шороха, и бормотанья невидимого сердитого ручья, бегущего по темно-ржавым палым листьям между замшелых камней. Долго вьется черная, сырая тропка в сумраке и ропоте настороженной рощи, идешь по ней, и немножко чего-то страшно, но как только ступишь за последнюю ольху, на ту самую полянку — сразу так и обдаст тебя сияющий, зеленоватый, мягкий свет: на полянке нежнейшей зелени трава, с боков — березки с мелкими своими листьями, и с полянки настежь распахивается могучий, светлый, тихий-тихий простор. Ведь полянка-то на обрыве, на крутизне, и с обрыва видно далеко-далеко вокруг и внизу: необъятно стелются чуть обозначенные, мягкие холмы, луга, луга на них, синие толпы лесов видны вдали, узкая голубая речка вьется и мерцает внизу, избушечка стоит над нею,— простор и свет, русский, мудрый, добрый.

И если мне никогда не снилось, что я дошла до угличского собора, то до той самой полянки я во сне всегда дохожу и долго стою на ней, и долго упивается сердце красой открывшегося простора, и я просыпаюсь освеженной, как-то по-особому спокойной и уверенной, потому что знаю: это существует не только во сне, но и наяву — родина, свет, жизнь...

1940—1957



Поход
за Невскую заставу



Дневные звезды

Я узнала о них в отрочестве, в Новгородской губернии, и уже не помню теперь точно, прочитала ли это в журнале или услышала от учителя Петра Петровича, зашедшего в тот вечер к избачу... Нет, наверное, это все-таки рассказал сельский учитель — старый человек с глубокими маленькими глазами и длинной, очень редкой, светящейся бородкой, знающий множество интересного и даже тайного о мире, о жизни и людях. Июльский вечер все голубел, все сгущался, первые звезды зажглись в просторном окошке избы-читальни, и вот Петр Петрович сказал, что будто бы звезды никогда не исчезают с неба: кроме звезд ночных и вечерних, есть еще и дневные звезды. Они даже ярче и красивее, чем звезды ночные, но никогда не видны в небе: их затмевает солнце. Дневные звезды можно увидеть только в очень глубоких и тихих колодцах: высоко стоящие над нами, недоступно-невидимые нам, они горят в глубине земли в малом черном зеркале воды, венчиком разбрызгивая вокруг себя коротенькие острые лучи... Правда, про лучи учитель не говорил, но я сразу представила это — ведь так обязательно должно было быть.

И вот с того вечера одолело меня неистовое желание — увидеть дневные звезды! Я никому-никому, даже сестре Муське, не сказала, что знаю о них и хочу их увидеть. Я думала — вот я сперва о д н а, п е р в а я увижу их, а уж потом расскажу (Муське — сразу) и покажу даже — сначала Муське, а потом другим: посмотрите-ка, что я п е р в а я увидала! Даже не увидала, а подглядела — это больше, чем увидать... Дневные звезды — это чудо, конечно, но оно существует на самом деле, оно — правда, я-то знаю! Теперь знайте о них, смотрите на них все, все!

Желание увидеть дневные звезды и весь план — показать их другим — возникли в тот же вечер, когда из Заручевья возвращалась я на недалекий хутор, где мы нанимали комнату вот уже третье лето. Дорога сладко пахла недавно прошедшим стадом, парным молоком, остывающей пылью; маленькие мягкие фонтанчики пыли с приятной прохладой били меж пальцев босых ног, ивановские червячки доверчиво мерцали в придорожных канавах. В низинах, в легком тумане, побрякивали деревянные ботала и жестяные колокольцы невидимых лошадей. Иногда же слышалось звяканье какого-то особого, очень нежного, грустного колокольца. Дорога вилась с холма на холм, и было отрадно знать, что идешь не просто по дороге, а по Валдайским возвышенностям, где не так уж далеко от тебя, из земли, из деревянной часовни, выбивается родник, который называется Волга. Везде вечер, и звезды отразились уже и в Волге-роднике, и в Волге-ручье, и в Волге-реке... А дневные... Дневные звезды я увижу завтра! Проходя через огород к дому, я приостановилась и с радостным страхом покосилась на старый наш, покрытый седыми лишаями и мохом колодец. Он был таким, как всегда: упираясь в небо, в какую-то обыкновенную звезду, высился над ним тонкий журавль, и огромные толстые лопухи (на листе как раз такого лопуха плыла когда-то Дюймовочка) — голубые вечерние лопухи чмокали и шевелились вокруг колодца. Все было как вчера, и все — иначе! Оказывается, этот давно знакомый колодец был просто набит лучистыми дневными звездами, а мы-то, дураки, и не знали об этом и нарочно норовили погромче плюхнуть ведро в его темную звездную воду.

«Я завтра увижу их»,— вновь подумала я, и приятные мурашки пробежали по спине. Но почему-то несколько

дней я не решалась заглянуть в наш старый колодец. «Нет, не сегодня... завтра... а уж послезавтра — обязательно...» Неосознанно я оттягивала счастливую и чем-то страшащую меня минуту свидания с дневными звездами, и — странно — эта оттяжка доставляла мне непонятное, ни на что не похожее наслаждение.

...Тогда, накануне юности, я не знала еще, что ожидание счастья сплошь и рядом сильней, чем само счастье. Так же, как и предвкушение большой, сложной и желанной работы часто приносит больше радости, чем сама работа. Вот почему иногда тянешь с нею, откладываешь сроки, придумываешь причины, чтобы не приступать к ней, а иметь возможность всласть, свободно помечтать— и о процессе ее и даже о плодах ее, то есть о новом своем произведении. Каким стройным и значительным видится оно из замысла, еще не додуманного до конца,— и не надо, не надо, чтоб в точности был известен конец,— он должен прийти с а м, как открытие, как награда за труд; из путаной сети первоначальных, то пронзительно блещущих, то еле мерцающих образов, наконец, из наивно-тщеславных мечтаний о том, как эта — еще не начатая на бумаге! — работа будет признана самыми строгими друзьями, принесет тебе искренне душевное волнение читателя, быть может, даже лучшие слезы его — одинокие, тайные слезы...

Отравленный ипритом, медленно умирающий и знающий, что умирает, Антуан Тибо, оглядываясь на молодость свою, записывал в дневнике: «Я жил в состоянии предвосхищения жизни и активного доверия к ней».

Предвосхищение жизни, то есть способность жить тем, что только будет, что только м о ж е т н а с т у п и т ь, но уже ж и т ь этим,— какой щедрый и жестокий дар бытия! Я долго, наверное слишком долго, жила в предвосхищении только одной радости и, быть может, слишком активно доверяла ей. Я знаю теперь, что значит жить в предвосхищении неизбежной утраты (любви, друга, семьи), незаслуженного обвинения, долгого и тяжкого испытания. Но тогда, в отрочестве, в Новгородской губернии, не имея понятия, что сверх меры наделена способностью жить будущим (как и способностью жить прошедшим — памятью особого рода), я попросту наслаждалась предвосхищением радости, предвосхищением встречи своей с дневными звездами.

И вот через два или три дня, в знойный, безоблачный полдень, убедившись, что на огороде никого нет, я стремглав подошла к старому колодезному срубу, зажмурилась, с размаху, как книгу, распахнула обомшелые дверцы и, не мигая, уставилась в темную глубь его.

Никаких звезд в колодце не было.

Я не поверила этому.

Я смотрела в колодец очень долго, долго вдыхала его холодок и запах разбухшего дерева, но звезды не появлялись в нем, лишь время от времени черный квадрат воды начинал почему-то вздрагивать и с самой середины его к стенкам бежали и бежали еле заметные круги.

«Наверно, с первого раза их и нельзя увидеть»,— догадалась я и через час или два, протомившись на зное, уже не стремглав, а крадучись подошла к колодцу, осторожно, тихонечко отворила его и... снова ничего не увидела! Так я заглядывала в колодец до вечера, пока не зажглись первые звезды, видимые всем и каждому.

На другой день зарядил дождик, потом пошли дни, когда ясное небо вдруг наполнялось сияющими, бурными, круглыми облаками (их-то я видела в колодце!), потом снова и снова, по-разному, в разное время заглядывала я в колодец, но так и не увидела — хотя б на минутку! — ни одной дневной звезды...

Я никому ничего не сказала и была довольна, что не похвасталась дневными звездами заранее даже перед Муськой.

Но странно! Уверенность в том, что дневные звезды есть и что есть на земле колодцы, отражающие, держащие их в себе, не оставила меня. Просто, наверное, наш колодец был не так глубок и не так темен, как надо. Быть может, со дна его били какие-то тоненькие бередливые источники, колебавшие воду, не дававшие ей покоя, необходимого для отражения никому не видимых звезд. Неудобно сознаваться, но лишь недавно я узнала, что ослышалась тогда или просто не поняла Петра Петровича: дневные звезды можно увидеть не в глубоких колодцах, а из колодца, то есть сидя где-то в недрах земли. И все-таки, несмотря на то что ни разу не увидела я в отрочестве ни одной дневной звезды, несмотря на широкое распространение водопроводных колонок, мне и сейчас хочется верить, что есть у нас на земле звездные колодцы, и не только старые, тихо обступаемые сказочными лопухами,

но и новые, возникшие при нас, стройно и жестко бетонированные, стремительно уходящие в такую земную глубь, хранящие такое тихое и темное зеркало воды, какое старым колодцам и не снилось. Я не только уверена, что такие колодцы есть,— больше того: я хочу, чтобы душа моя, чтобы книги мои, то есть душа, открытая всем, была бы такой, как тот колодец, который отражает и держит в себе дневные звезды — чьи-то души, жизни и судьбы... нет, точнее: души и судьбы моих современников и сограждан.

Незримые обычным глазом и, значит, как бы не существующие, пусть будут видимы они всем, во всем сиянии своем — через меня, в моей глубине и чистейшем сумраке. Я хочу все время держать их в себе, как свой собственный свет и собственную тайну, как свою наивысшую сущность. Я знаю: без них, без этих дневных звезд, меня как писателя нет и не может быть... Но ведь и они не могут быть видны другим — то есть существовать — без меня, без моей жизни и рассказа о ней, без нас — писателей, и мы знаем об этом.

А я по-особому, заново вспомнила об отроческой мечте своей, о дневных звездах и колодцах, отражающих их, когда раздумывала над письмами и откликами читателей на записки свои, опубликованные в 1954 году в журнале «Новый мир» под названием «Поездка прошлого года», а ныне открывшие эту книгу под заголовком «Поездка в Город Детства». Я не рискнула бы говорить об этих письмах, если б не была уверена, что они относятся не только ко мне, а ко многим моим товарищам по профессии, затрагивая при этом область наиважнейшую: наши отношения с читателями, точнее же говоря — с народом.

Я рассказывала в первом отрывке (условимся называть пока так неопределенные эти записи) о путешествии в город детства, в древний русский город Углич, вспоминала трудные годы, прожитые там во время гражданской войны в келье девичьего монастыря, куда вселила нас горкоммуна. Я размышляла о Главной книге своей, которая у меня, как и у многих писателей, всегда впереди, говорила о том, какой именно рисуется мне моя Главная книга — как «исповедь сына века», писала еще о многом другом.

Я получила очень много писем.

Откликнулись мне многие мои «земляки» по Угличу — ныне военнослужащие, инженеры, речники, матери семейств,— те, чье детство и юность связаны с этим неповторимым русским городком, которые и учились-то, как оказалось, или одновременно со мной, или несколько позже, многие — в той же школе, только мы тогда, ребятами, не знали друг друга, не дружили, и вот лишь теперь, тридцать лет спустя, заочно познакомились...

Откликнулись люди, никак не связанные с Угличем.

И — кое-кому это может показаться невероятным — больше всего писем было о Главной книге.

Среди них было письмо старой учительницы из подмосковной деревни, письмо донецкого шахтера красногвардейца, письмо старика лесовода...

Они писали о том, какой видят они мою Главную книгу, они рассказывали о своей жизни, приписывая в конце: «Может быть, это понадобится для вашей Главной книги».

И вот, читая письма-напутствия и письма-исповеди, я поняла еще одно, очень важное: если у меня есть Главная книга, еще не написанная, которая всегда впереди, то и у читателя тоже есть такая Главная книга, еще не прочитанная, и она тоже всегда впереди. И так же, как писатель пишет свою Главную книгу непрерывно, мечтает о ней неустанно, так же, как кажется писателю во время очередной его работы: «вот я пишу наконец самое главное», а потом видишь, что это только подступы к главному, а оно опять впереди,— так же и у читателя существует это чувство: во многих книгах нашей поистине великой советской литературы он узнает и время и себя, многие книги наши он любит, но какая-то *самая Главная, самая всеобъемлющая и выражающая* его душу книга — для него впереди, и он ищет, он жаждет этой книги. Он хочет увидеть в ней не только внешнее движение событий, не только внешние свои деяния, а прежде всего самый глубинный, тайный, интимный, самый достоверный мир своей души. Он хочет увидеть нравственный путь свой без прикрас и без прибеднения, без умолчаний и без болтовни, без преувеличений, но и без умалений. Быть может, так дневная звезда томится своей невидимостью и «жаждет обнаружения», жаждет не только увидеть себя, но хочет знать, что ее увидели и узнали другие, хочет поделиться с другими своим заветнейшим, своим невидимым, своим глубинным светом.

Советский же человек с его титанической биографией не только хочет поделиться своим духовным опытом с современниками-соотечественниками, но и с людьми всего мира, но и с потомками, и не «немой исповедью», не скороговоркой, а через Главную, Большую книгу своего писателя. Больше того, он хочет вместе с писателем с о з д а т ь эту книгу, вместе с писателем он хочет быть героем этой книги, чья душа настежь, до самых глубин, открыта перед народом, он хочет быть героем «исповеди сына века». Жажда такой книги ничего общего не имеет с праздным тщеславием типа требований: «Увековечьте нас, пищевиков», «А вот нас, работников горфинотдела, забыли», «Ближе к жизни пожарников и огнетушителей, товарищи писатели» и т. п.

Нет, это не суетное желание как можно скорее насладиться собственным лицезрением, а хозяйское отношение труженика, строящего будущее, к будущему. Это — предвосхищение жизни своей в жизни тех, кто идет вслед за нами, желание оставить им не только материальное, но и духовное наследство; с беспощадной правдой передать нравственный опыт эпохи, при этом не только положительный, но и отрицательный — вот это хорошо, вот так поступайте, а так не делайте, не повторяйте наших ошибок и страданий. Вот это долго казалось нам правильным, и на самом деле оно было ложным. Это мы долго принимали за ложное, страшились и чурались его, а оно оказалось единственно истинным.

...И еще одно поняла я из таких писем-исповедей, писем-автобиографий: читатель всерьез тревожится, что мы, писатели, отображая, фиксируя, записывая видимое и известное всем, не поднимаясь выше преходящего и злободневного, забудем что-то очень важное, может быть самое важное, и теперь и навсегда самое современное, что происходило и происходит в жизни и душе его, читателя-народа. Так дневная звезда, проходя над колодцем, трепещет, что колодец не отразит ее, не примет невидимого ее света в свою вещую глубину...

Эта тревога понятна. Да! Мы много сторон и событий нашей жизни, проходивших через душу советского человека, волновавших ее то горечью, то отрадой, терзавших и возносивших ее, иначе — много сторон истории души его — коснулись пока лишь поверхностно и чаще всего фальшиво. Но мы помним все. Древний поэт, оплакивая

разрушенный Иерусалим, город своего счастья и своего страдания, единого со счастьем и страданием народа, восклицал: «Если я забуду тебя, Иерусалим,— да забудет меня рука моя, да прилипнет язык к гортани моей — если не буду помнить тебя, если не поставлю тебя во главу веселия моего».

Паралич тела, вечную немоту — паралич духа — вот что призывал на голову свою древний поэт, если он забудет то прекрасную, то страшную правду о себе и своем народе и не сделает ее «главой *веселия своего*», то есть основой своей жизни, основой ее радости.

Нет, мы ничего не забудем! Мы верны зову Партии: помнить, знать и писать о нашей жизни, о нашем советском человеке, о его душе — всю правду и только правду. Мы верны тебе, читатель, требующий ее от нас, ждущий наших — и своих! — Главных книг. Мы их все-таки напишем с твоей щедрой и умной помощью, напишем, открывая свое и твое сердце как единое сердце народа. Напишу, наверно, и я свою Главную книгу — нет, не наверное, а непременно!.. Но сегодня я все еще только на подступах к ней, и эти записи тоже лишь подступы к ней, хотя мне кажется почему-то — более ближние, чем предыдущие. О да, и это лишь черновик, но Главная книга всегда больше замысел, чем воплощение, она всегда мечта, предвосхищение самой себя — Главной, Большой книги. Но, повторяю, эти записи кажутся мне на сегодняшний день приближающими Главную книгу более, чем все другие. Поэтому я и решаюсь публиковать их. Главную книгу невозможно создать в стерильных редакционных недрах, в наиблагополучнейшем кабинетном уединении. Записи к ней необходимо, по-моему, выносить на люди. Это не гордыня, это надежда на помощь читателя, а также друзей по профессии — писателей и критиков. Я продолжаю свои записки, по-прежнему не связывая себя более тесной формой, чем открытый дневник, в котором смешается прошлое, настоящее и будущее, память жизни и предвосхищение ее, герои погибшие и живые. Здесь будут повторы уже написанного, возвращение к уже сказанному. Мне хочется сказать о многом — сегодняшний день обязывает ко многому. Но если что-нибудь и не будет досказано мною, по неумению моему или каким-либо иным причинам,— я знаю теперь более, чем когда-либо,

что читатель, который вместе со мною пишет нашу Главную книгу, поймет меня до конца.

Сегодняшний день обязывает ко многому, но прежде всего — к обороне мира. Поэтому в этом отрывке я буду много говорить о войне — о Ленинграде в страшные и высокие годы блокады...

День вершин, детство!

В предыдущем отрывке я остановилась на том, как сидела в угличской гостинице перед окошком с геранями на подоконнике и нежным силуэтом Дивной вдали и жила всей жизнью, ибо только что на месте исчезнувшего жилища детства и несбывшегося сна испытала необычайное состояние сопричастности со всей жизнью народа во времени и пространстве. Но тому угличскому дню предшествовал другой день, похожий на него по неистовому накалу и густоте бытия, который я до сих пор называю, быть может, несколько торжественно — «днем вершин», о котором даже стихи писала, где и сотой доли не смогла выразить того, что испытала в тот день. Но я уже говорила, что Главная книга ищет себя в разных воплощениях...

«День вершин» был в начале октября сорок первого года за Невской заставой... Но сначала я должна — пока хоть коротко — рассказать о Невской заставе, о самом начале своей жизни,— мне кажется, что без этого ничего нельзя будет понять ни другим, ни, главное, мне самой.

...Потребность связать свою жизнь воедино, потребность вспомнить, сравнить, переосмыслить все, что в ней было, начиная с ее истоков, собрать самое себя как нечто единое, рассеченное сначала войной, затем событиями 1953—1957 годов,— вот что означает, по-моему, это стремление «начать с самого начала...»

Я застигаю себя очень рано, примерно лет с трех. Я застигаю себя в нашем двухэтажном деревянном доме, среди людей, почему-то очень давно известных и любимых,— это дородная бабушка Ольга Михайловна, дед Христофор, красивейшие папа и мама, Авдотья, наша няня и прислуга, вторая бабушка — маленькая Марья

Иванна, мамина мама (мы звали ее баба Маша), многие тети и дяди и, наконец, таинственно появившаяся в доме сестра Муська.

Собственно, с ее появления и возникает в сознании память и с той ночи, как тутовый шелкопряд, начинает прясть клейкую нить, скрепляющую отдельные явления в непрерывную жизнь.

Я застигаю себя впервые на мощных руках Авдотьи, которая несет меня сквозь полутемную, полную невнятного движения квартиру, сквозь мерцающую ночную кухню, сквозь прихожую, где от двери дохнуло улицей и морозом,— в комнату матери.

Здесь горит висячий голубой фонарь, и комната точно наполнена светящейся голубоватой водой. Пахнет чем-то незнакомым, и очень жарко. Под фонарем, на самой середине комнаты, стоит что-то неизвестное мне, вроде кроватки с белым остроконечным пологом, похожее на бумажный кораблик. Оно покачивается и шурпит, как кораблик. Конечно, это большой кораблик! Сухонькая, вся в темном, бабка Марья Иванна покачивает его. Бабка Ольга в огненном капоте, скрестив огромные руки на огромной груди, стоит с другой стороны кораблика... Но прежде всего я вижу окно. Освещенное откуда-то с улицы, замерзшее январское окно трепещет ярчайшими — зелененькими, красненькими, желтыми, голубыми — огнями. Огоньки бегут один за другим, вспыхивают, крутятся, прыгают, льются, и я не могу оторвать глаз от зрелища Окна...

— Смотри на сестренку-то, смотри, Лялецка,—шепчет Авдотья, и кораблик останавливается.

Я напряженно гляжу. В белой сердцевине кораблика лежит что-то темное и сморщенное, как грецкий орех, немножко похожее на человечка. Я протягиваю руку, чтобы потрогать э т о. Мне не дают потрогать. Авдотья шепчет:

— Ну что, нравится сестренка-то, а?

Я ответила басом, нетерпеливо стремясь к Окну:

— Нет! Она очень красная.

И обе бабки засмеялись, и тетки засмеялись тоже. Ночь, а никто не спит. Все столпились возле люльки-кораблика, кроме мамы — она почему-то лежит за пологом,— шепчут над ним, качают его, целуют меня, и все такие добрые — бабка, отец, дед, тетки...

Я плоть от плоти и кровь от крови всех этих людей, существо, рожденное в их далекой Атлантиде. Они заботливо учили меня ходить и говорить по-человечески, так, как тысячелетия учили этому их самих. Я свидетель геологической гибели этой Атлантиды и сама, насколько могла, способствовала этому... Как я временами тоскую по ней теперь...

Первые годы моего существования, как и у всех людей, были прекрасны, исполнены тайн и открытий в никому не известном мире.

Я вспоминаю эти годы с глубоким уважением, с печальной любовью, с завистью к самой себе. Я вспоминаю эти годы, как страну, дорога к которой утеряна, но чудесный ландшафт которой душа никогда не забудет.

Все было живым в Стране Детства.

Ее необъятная территория начиналась, конечно, с нашей небольшой, но, как казалось тогда — огромной квартиры. О, тогда здесь не было ничего незначительного и мертвого. Наоборот, каждая вещь жила особой жизнью, имела свое лицо, голос и повадки.

В прихожей стояла огромная бочка с темной, глубокой водой. Если, подтянувшись на цыпочки, наклониться над бочкой и крикнуть, бочка отвечала толстым, сердитым голосом, как дяденька. Лицо у нее тоже было толстое, с надутыми щеками. В бочке можно было утонуть, и, наверное, в глубине ее вод жили рыбки. Зима начиналась с бочки: в темной ее воде заводились юркие, скользкие, как мальки, льдинки; Авдотья не давала их ловить руками.

За прихожей расстилалась кухня, набитая домашними, мелкими, но тоже хитрыми и живыми вещами, наполненная запретными закоулками, где все-таки можно было устроить дом и жить.

Блистающая, всегда теплая кафельная плита имела топку, духовку, а под духовкой еще какую-то маленькую дверцу, которую Авдотья ни за что не позволяла открывать и испуганно кричала, как только я подбиралась к этой дверце:

— Уйди! Там зола! Не трожь!

— Почему?

— Откроешь — полетит, глаза щипать будет.

Я еще не знала, что такое зола (слово-то было произнесено впервые!), и решила, что это какая-то злая тетка, которую Авдотья поймала и заперла под духовкой. И зимними вечерами, когда дули ветры,— так страшно было на кухне! — злая тетка Зола стучалась в дверцу, тихонько скулила, и я тесно прижималась к Дуне, которая Золы ничуть не боялась, а выгребала ее по утрам, когда все спали.

Над кухонным столом медового, съедобного цвета висел черный лохматый ёршик, которым прочищали ламповые стекла. Когда его брали в руки, ручка ёршика сердито пищала: ёршик был живой, он мог укусить, и я боялась его. Авдотья знала это и иногда, когда я уж очень вертелась под ногами, хваталась за ёршик и восклицала:

— А вот я тебя сейчас Ёршику отдам!

А Ёршик противно пищал и топорщился от злости.

Сахарные щипцы мы называли Хáха, потому что они широко раскрывались, как рот во время хохота, оскалясь острыми кончиками.

Хáха тоже был живой и скалился — радовался, когда грыз сахар.

В столовой, где обои были как дубовые доски и в углу стояла гофрированная золотая печка (мы были уверены, что она всамделишная золотая), а в центре — большой стол под висячей лампой, самой замечательной вещью были стенные часы: небольшая рогатая головка оленя украшала их, и если, притаившись, сощурить веки и быстро-быстро вращать глазами, олень начинал поворачивать голову из стороны в сторону, и казалось, что вот он сейчас совсем оживет и, маленький, милый, соскочит с часов. «Олёнюшка!» — звала я его шепотом. Но волшебство моментально исчезало, как только я по-настоящему открывала глаза.

Это была эпоха божественной потребности осязать и наименовывать вещи, вдыхать в них душу, наслаждаться их движением. Но домашние не позволяли нам ни трогать, ни одушевлять, ни приводить вещи в движение и с каким-то удовольствием, даже старательно, разрушали наше представление о живом мире, полном человечков.

— Испортишь! Сломаешь! Ушибешься! Отойди! Не трогай! — ежеминутно восклицала бабушка Ольга, как только я подбиралась к чему-нибудь интересненькому.

Даже игрушки, которые дарила мне она сама или другие, бабушка прятала от меня, чтобы я их не испортила или не сломала. Она спрятала в горку красивую жестяную

посуду, которую подарил мне дед, убрала в недра комода мою куклу Нину с закрывающимися глазами, скрыла в глубине платяного, огромного, как дом, шкафа настоящий маленький красный зонтик, подаренный тетей Лизой.

И вот поэтому не было во всем доме милее и любимее угла, чем кухня, а в кухне — Дунина кровать. Она была плотно приставлена к стене, и тиковый полог бордового цвета (Дуня говорила «бурдовый») отделял ее от кухни. Дуня никогда не отгоняла нас от своей кровати. На кровать Дуни можно было даже забираться с ногами, можно было прятаться за огромной розовой подушкой, кувыркаться. Можно было даже встать на подушку и посмотреть вблизи на Дунину иконку. У бабушки все иконы были одинаковые — с темными, сердитыми, длинными лицами. А у Дуни иконка была очень интересная: старичок, святой, ужасно похожий на нашего дедушку, только с чересчур большой головой и с сияньем вокруг головы, кормил из рук коричневого медведя, а кругом был густой, дремучий лес и избушечка выглядывала из лесу, маленькая, с окошками и трубой, а из трубы даже шел дымок — наверное, все это было как у Дуни в Гужове. Когда перед иконкой горела зеленая лампадка, лес оживал и двигался... А под кроватью помещалась Дунина круглая плетеная корзинка, и там лежали очень красивые, в розах и бабочках, материи, потом зеленая-зеленая шелковая кофта и, главное, удивительный платок: с одной стороны золотой, с другой — серебряный!

В свободное время любимым занятием Авдотьи было перебирать вещи в корзине.

Она особенно ценила свой платок и подолгу любовалась им, ну и мы, конечно, тоже. Мы всегда неслись в кухню, как только Дуня начинала перебирать корзину...

Мы не могли оторвать глаз от золотисто-серебряного платка, который Дуня почему-то называла двуличным.

— Ой, Дуня, красивый какой! Дай потрогать! А как ты думаешь, Дуня, у царицы такой платок есть? Дуня, а что ж ты его не носишь никогда?

— А зацем мне его зря-то трепать,— с достоинством возражала Дуня.— Я вот в Гужово поеду, все это с собой повезу... Я его в Гужове и обновлю...

Дуня была «скобская», поэтому вместо «ч» она произносила «ц» — и наоборот. Деревня Гужово, родина ее, была в Скобской (Псковской) губернии, и ехать туда, по словам Дуни, надо было целых три ночи, а то и больше ночей...

— А днем? — спрашивали мы.

— Не... туда только ноцью ездиют,— твердо отвечала она.

Очень далеко было Дунино Гужово — за тридевять земель, за тридевять ночей...

«Бурдовый» полог у Дуниной постели обычно был закинут на карниз, Дуня опускала его только на ночь, когда ложилась спать.

Но иногда она опускала его задолго до ночи. Это было тогда, когда все взрослые уходили в гости, а мы оставались одни в полутемной, освещенной только лампадками, странно затихшей квартире; квартира становилась вдруг немного чуждой, страшноватой и как будто бы необитаемой.

Тогда Авдотья опускала полог, садилась на кровать, аккуратно вытягивала руки на мощных своих коленях и, уставив куда-то неподвижный, отсутствующий взгляд, заводила на всю квартиру тоненьким, «долгим» голосом, точно плача:

А как родимая сторо-онушка...

И дальше она не могла пропеть ни одного слова, сразу, мгновенно мелкие слезы заливали ее широкое лицо, и она плакала тем же тонким, тоскующим голосом, без слов, без жалоб, лишь время от времени выводя свою единственную фразу:

А как родимая сторо-онушка...

Непонятная, тягостная тревога начинала томить меня, когда тонко пела-плакала Дуня в нашей опустевшей вечерней квартире, за темным своим пологом у гладкой сырой стены.

Мы теребили ее: «Дуня, Дуня, не пой, страшно», но она, неподвижная, с окаменевшим, разъеденным слезами лицом, с покрасневшим носом-уточкой, казалось, не слышала нас, пока мы сами не начинали реветь во весь голос. Тогда она, словно проснувшись, кидалась к нам:

— Ай, тошно мое лихо! Ну, вы цего? Вы цего? Вам плакать нельзя, у вас папа-мама есть...

— А зачем ты сама плачешь?

— Так. У меня мамы нет. Папы нет. Сиротка я. Гужово вспомнила. Братуху жалко. Была бы грамотная — письмо бы ему написала...

Ее главной болью и горем была ее неграмотность. Она неуемно стыдилась, что «темная дура, безграмотная», мучилась этим, хотя за Невской кругом были неграмотные — и дворник наш, и водовоз, и полотер, и много жильцов и жиличек. Но им это было все равно, а Дуня страдала оттого, что неграмотная, и на наши книжки смотрела, как голодный смотрит на хлеб, и иногда спрашивала:

— А это какая буква? А это? Ну, букве «А» я уже наицилась. Лялецка, науци меня нецо одной буковке...

Ее заветнейшей мечтой было научиться писать, и не для чего-нибудь, а для того только, чтобы самой написать письмо в Гужово, братухе... В то Гужово, о котором она так плакала и пела, о котором мы готовы были слушать целыми часами.

Едва она переставала плакать, как мы привязывались к ней:

— Дуня, расскажи про Гужово! Расскажи, Дунечка, миленькая!

Ее бессвязные новеллы, состоявшие иногда из одной фразы, были полны событий, всегда печальных или страшных. Авдотья рассказывала:

— У нас в Гужове лес очень огромадный. В этом лесу одну девку Зеленый завел и удушил...

Мы замирали.

— Дунь... А Зеленый — это кто?

Она шептала, озираясь:

— Ну... самый страшный на свете... Про него нельзя рассказывать!

Перетерпев ужас, мы просили:

— Дунь... Ну, еще что-нибудь.

И, помолчав, она повествовала:

— Маму мою волки заели. Не взаправду, а... Она умирала, все крицала: «Ой, волки в избу пришли, ой, волки ко мне идут!..» Братуха меня жалел.

Мы ежились и озирались, крепче прижимаясь к ее широким, теплым бокам.

— Ну, еще что-нибудь...

Она неподвижно глядела вперед, точно вглядываясь во

что-то. Ее широкое, доброе лицо с яркими красными жилками казалось жалостливым, губы распускались.

— Гуси меня один раз цуть до смерти не исципали...

— Ой, Дуня, почему?!

— Так. Я девцонкой у одного хозяина у гусятницах была. Я вот такая маленькая, а гуси больсущие, злые! Гусаки. Они все на меня, все сщипать. Я в рев. Братуха прибежал, отбил. У братухи гусей нет. Лошади нет.

— А братуха гусей не боится?

— А цего ему гусей бояться?

Мы вздыхали от удовольствия и просили еще рассказать про братуху.

Помолчав, Авдотья рассказывала:

— У нас один раз корова была — злая, бодусцая. Всех бодала. Братуха ей рога взял и спилил.

Или:

— У одного хозяина лошадь была — во́ кусацая! В лес со двора забегла. Братуха пошел, лошадь поймал да исцо грибов стоко собрал, хоть все Гужово корми...

— А Зеленый?

— А цего Зеленый?

— А разве братуха Зеленого не боится?

— А братуха ницего не боится!..

В Гужове коровы были бодущие и злые, и гуси были огромные и злые, и леса, обиталище Зеленого, огромные и страшные, и к людям оттуда в смертный час приходили волки, и лошади были дикие и кусачие, а братуха, огромный, бесстрашный, бесстрашно ходил среди дикого скобского леса, разгонял разъяренных гусей, спиливал бодущим коровам рога и, ничуть не страшась Зеленого, о котором даже говорить нельзя, громко играл на гармошке ту самую песню, которую никак не могла спеть в Питере Авдотья.

О свирепо-прекрасная скобская деревня Гужово! Твой дремучий лесной лик непримиримо глядел с Дуниной иконки на городскую чужбину. И каждый вечер, столбом встав перед иконкой, окаменев, выпучив глаза, Авдотья молилась изображению старика, спокойно кормящего медведя, изображению горестной избушки — сияющему своему за тремя ночами, далекому Гужову. Сидя на корточках у плиты, мы с уважением следили за ее широкой сборчатой юбкой, за тощей косичкой меж голых мужественных лопаток, за большой красной рукой, кладущей

медленные кресты. Мы напряженно вслушивались в ее цокающий шепот, и я услыхала однажды:

— Светы божи, светы крепки, светы бессмертны, помилуйте мя.

Воображение перевело подслушанную молитву иначе — она была таинственна и прекрасна: «Цветы божьи, цветы крепкие, цветы бессмертные, помилуйте нас».

И тотчас же, легко и отрадно, мы поверили, что у бога в раю растут такие цветы — огромные, с дерево, неувядающие, крепкие и добрые; они светятся, как фонарики, и сделают все, что у них попросишь. И мы верили в божьи цветы, в их дивную силу, спокойно и радостно и с особым доверием просили:

— Цветы божьи, цветы крепкие, цветы бессмертные, помилуйте нас!

Я скрывала эту молитву от взрослых, инстинктивно чувствуя, что они запретят ее, что они, молясь скучным, темноликим иконам своим, не поверят в веселые и добрые святые цветы.

И вот прошло много-много лет — была революция, была гражданская война, мы почти три года жили в Угличе, потом вернулись в Петроград, где в квартире нашей исчезли все человечки, исчез и угличский старичок, потом, всего через девять лет, я навсегда ушла из отчего дома, из-за Невской заставы, и была уже комсомолкой и даже кандидатом партии, и давным-давно не верила в бога, и совсем позабыла про его всемогущие цветы,— когда увидела их воочию, живыми! Это было в то лето, когда я первый раз в жизни поехала на юг, к морю, и до отхода автобуса в Гагры бродила одна в сочинском дендрарии. Казалось, сердце уже не в силах вместить восторженного изумления перед впервые увиденной красотой юга, казалось, оно до отказа полно только вчера открытым морем, морем, морем — его трепещущим, влажным, безграничным серебром. Но вот я повернула в аллею с какими-то высокими темнозелеными деревьями, полную неподвижного, неведомо-благоуханного сумрака, и — обмерла: на ветвях этих деревьев, среди крупных темных листьев, светясь, как фонарики, недвижно сидели огромные молочно-жемчужные цветы. То были магнолии. Я не знала еще их названия. Но когда я вошла в эту аллею, увидела эти светящиеся огромные цветы, такие крепкие, такие на вид бессмертные, такие спокойно-прекрасные, то сама собой внезапно вспомнилась мечта-молитва раннего детства. И я засмеялась,— господи, да ведь я же в р а ю! И в веселом счастье я прошептала, не молясь и не кощунствуя: «Цветы божьи, цветы крепкие, цветы бессмертные, помилуйте нас» — как давным-давно, за Невской заставой...

А за Невской заставой я бывала все реже и реже. Я жила теперь в «городе», на улице Рубинштейна, семь, в странном доме, построенном в самом начале тридцатых годов,— я писала о нем в первом отрывке.

За Невской заставой, в старом доме нашем, остался жить папа (они разошлись с матерью, и мать жила у сестры), тетя Варя с бабушкой Марьей Ивановной — бабой Машей — и нянька наша Авдотья.

Волнистые белокурые волосы папы стали седеть и редеть, хотя он при случае все так же лихо ерошил их и напевал старую заставскую песенку:

> А носил Алеша кудри золотые!
> Пел великолепно песни городские,
> Как же тут Марусе
> Было не влюбляться...

Он работал все там же, врачом в амбулатории при бывшей фабрике Торнтона, ныне «Красный ткач» имени Тельмана, куда поступил после гражданской — после кронштадтского льда, на котором завершилась его военная служба.

Он бывал иногда у меня в неправдоподобно маленькой, какой-то «понарошечной» макетной квартирке «дома-коммуны», а я никак не могла вырвать время побывать у него — ни на фабрике, в его ветхой деревянной амбулатории с палисадником, где у папы, собственно, был второй дом, где много лет выращивал он какие-то необыкновенные для Ленинграда розы, ни в запущенной комнате его в нашем старом доме.

Бабушка Ольга и дед умерли уже давно, а баба Маша все жила и жила и непрерывно работала по дому, совсем став маленькой и сухонькой, еле шелестящей, но все еще будучи подвижной, с быстрыми черными глазами. Она заботливо обихаживала бывшего зятя — папу, когда он бывал дома, и единственную оставшуюся вместе с нею дочь — тетю Варю — медицинскую сестру Александровской больницы, непрерывно при этом ворча на нее... Тетя Варя стала работать в госпитале сестрой милосердия в первые же месяцы войны с Вильгельмом, когда жениха

ее взяли на войну. Он был прапорщиком, и когда тетки по вечерам негромко пели романс «Военная чайка», мне казалось, что это про тети Вариного жениха.

Вот прапорщик юный со взводом пехоты
Старается знамя полка отстоять.

Один он остался
из всей своей роты...
Но нет! Он не будет назад отступать.

Тети Вариного жениха, прапорщика, убили на войне, и, наверное, тоже как в романсе:

Вот ночь пронеслась, и заря заблестела,
Врага мы прогнали далеко к реке.
Наутро нашли его мертвое тело,
И знамя держал он в застывшей руке...

Тетя Варя так и не вышла замуж и тихо, безропотно, вроде даже охотно увядала, и третье десятилетие плакала о своем женихе-прапорщике, и работала в том же госпитале, который после гражданской войны стал рабочей больницей, и носила все такую же белую косынку с маленьким красным крестиком посредине. Хотя такие косынки и не полагались теперь, тете Варе разрешили носить именно такую, с крестиком, как очень опытной, кадровой хирургической сестре.

А наша Дуня давно работала на фабрике «Картонтоль» уборщицей и все училась в ликбезе, с двадцатого года училась и все никак не могла выучиться грамоте — не только писать, даже читать.

— Букву «ща» никак пройти не могу,— жаловалась она мне в те редчайшие случаи, когда я бывала у наших за Невской.— Понимаешь, Лялецка, «кы», «ны», «ры», «лы», «мы» — это я все цитаю, а буква «ща» (она говорила «ца») и которые на нее похожие никак процитать не могу!

И она начинала плакать и утирать глаза кончиком головного платка, шепча:

— Темной дурой при царе была — темной дурой при Советской власти останусь... Уеду к братухе в деревню, буду помогать ему...

Братуху ее тяжело искалечили на германской войне.

Но Дуня так все и не могла съездить в Гужово — город уже держал ее.

...Шли годы: начало тридцатых годов, первая пятилетка, пламенные штурмовые ночи «Электросилы», где я работала; конец тридцатых годов, смерть дочерей моих, одна за другой; затем сразу — тягчайшее испытание 1937—1939 годов, оставившее в сознании след неизгладимый, и вот, почти сразу,— Великая Отечественная война... Все больше жизни ложилось, обваливалось и громоздилось между мною и старым моим домом, и так не похожи были мои горести и радости, особенно горести, на какие-то неподвижные, как казалось мне, горести и радости моих родичей из-за Невской заставы, что нить, связывавшая меня с ними, становилась все тоньше и тоньше и вот-вот готова была порваться.

Я не жалела об этом — собственно говоря, даже не думала. Я редко встречалась с отцом, Невская застава жила где-то далеко в подсознании, я почти не вспоминала ни Авдотью, ни бабушку, ни тетю Варю, пока в начале октября сорок первого года, когда Ленинград был уже окружен плотным кольцом немцев и штурм города не прекращался ни на минуту,— пока в это время рано утром в телефонной трубке не раздался голос тети Вари:

— Лялечка... Приезжай проститься с бабушкой.

Я не поняла ее, изумилась, но от другого.

— Тетя Варя... Как же ты думаешь эвакуировать ее? Ведь дорог-то от нас больше нет...

— Она не эвакуируется, Лялечка. Она умирает.

«Ну и что?» — чуть не сказала я: что-то не доходило до меня.

— Она умирает, Лялечка, и хочет с тобой проститься...

— Тетя Варя,— *забормотала я, совсем растерявшись*,— у нас сегодня в райкоме срочное совещание политорганизаторов... А я ведь политорганизатор...— Но вдруг, перебивая меня, косо пронеслась мысль, пока я лопотала: «Сколько же лет я не видела бабу Машу? Постой, постой... Больше двух лет... Живя рядом... А она перед смертью...»

И вдруг она предстала перед глазами такая, как в детстве: маленькая, вечно и споро работающая, ласково ворчливая, добрая-добрая... Моя бабушка! Моя добрая, старенькая, последняя бабушка...

— Тетя Варя! — крикнула я.— Я сейчас приеду. Я... я успею?

— Думаю, успеешь.

— Я еду, тетя Варя!

День вершин, фландрская цепь

Это было через несколько дней после того, как во время очередной воздушной тревоги мы, как и многие ленинградцы, подобрали у себя на дворе знаменитую немецкую листовку «Ждите серебряной ночи». А сегодня утром жильцы принесли мне несколько новых листовок. Они нашли их у себя под дверьми, и это были не немецкие листовки: они были написаны на небольших листках бумаги в мелкую клетку, по всем признакам вырванных из блокнота, карандашом, от руки, почерком неуверенным, дрожащим, не то детским, не то старческим, и над текстом карандашом же было изображено нечто вроде спирали или цепи, тоже как-то чересчур наивно, по-детски. Однако в тексте не было ни единой грамматической или синтаксической ошибки. Вот ее текст, который я знала уже почти наизусть, так как и сама нашла у себя рано утром на полу возле двери точно такую же листовку...

«Фландрская цепь счастья прислана мне кем-то. Я препровождаю ее Вам. Спешите! Пошлите ее в течение 24-х часов четырем лицам, кому Вы желаете счастья. Эта цепь начата во Франции в 1729 году одним ученым и должна обойти три раза вокруг света. Кто порвет цепь, тому будет великое несчастье. Обратите внимание на то, что с Вами случится на 4-й день получения цепи. В этот день Вас ожидает великое счастье, если это письмо Вы не оставите у себя».

Пока все тот же номер трамвая, на котором я ездила в «город», еще живя за Невской, вез меня на полузабытую мою родину, я думала вовсе не о встрече с заставой, не о прощании с бабушкой, а вот именно об этой сегодняшней листовке, ее наивно гипнотизирующем тексте. Я невольно твердила: «Фландрская цепь счастья... должна обойти три раза вокруг света... кто порвет цепь — тому будет великое несчастье...» И тут же возникала тревожная мысль: кто же, кто же составил, кто распространяет эти слова, эту «фландрскую цепь счастья»? Она не сброшена с немецких самолетов, но тем хуже — она составлена врагом, живущим рядом. Врагом? А может быть, человеком, желающим, чтобы в эти дни, когда все вокруг распадается и рушится, люди подали друг другу руки? Сомкнулись бы в единую неразрывную цепь? Да, но зачем тогда этот туман вместо простых, сегодняшних, сердечных слов, зачем запугивания: «Кто порвет цепь, тому будет великое несчастье...» Нет, если даже растерявшийся человек переписал и подсунул мне листовку, то составил и пустил ее по рукам враг. И этот враг живет где-то рядом... быть может, в моем доме... Ведь кто-то же проходил сегодня ночью или на заре по коридорам нашего дома и подсовывал эти листки под двери,— враг, или посланник врага, или запуганный им человек дышал у моей двери, прислушивался, не раздадутся ли мои шаги, кто-то грозил мне: «Кто порвет цепь, тому будет великое несчастье». Враг умен, грамотен, он понимает, что в дни, полные нежданных потрясений и ужасов, безотказнее всего могут действовать именно вот такие туманные, полные смутных угроз и смутных обещаний слова,— так кто же он, автор этого листка? Мне передали сегодня четыре такие странички, плюс моя — это пять... Пять человек порвали «фландрскую цепь счастья», а сколько людей сидят сейчас и переписывают, и рассылают эту дурманящую своей таинственностью бумажку? И не только на моем объекте, но и в других домах, но и во всем Ленинграде,— ведь эта «цепь» ходит давно, мы имели об этом сведения, и вот сегодня утром она дошла до моего дома, звякнула у моих дверей ржавым своим железом. Наверное, сегодня в райкоме будут говорить об этом... Я скажу, что нет смысла молчать об этой листовке, наоборот, надо на собрании или в бомбоубежище во время тревоги рассказать о ней, зачитать даже и... высмеять ее. На плакатах и воззваниях, расклеенных по городу, написано: «враг у ворот». Надо заострить — сказать: «враг у дверей». Надо схватить его за руку в ту минуту, когда он подсовывает под дверь или опускает в почтовый ящик таинственно написанную прокламацию... Если это не враг, а запутавшийся, растерявшийся свой человек, надо объяснить ему...

Я так задумалась обо всем этом, что не заметила, что трамвай давно уже стоит. Кондукторша сердито и нетерпеливо крикнула мне:

— Гражданка! Гражданка, да вы что? Выходите!

Я взглянула в окно, мы стояли у завода имени Ленина, бывшего Семянниковского.

— Мне еще одна остановка,— сказала я.

— Да вы что, оглохли? Артиллерийский обстрел. Выходите. Укрытие напротив, вон в том доме...

Я соскочила с площадки. Действительно, высоко над головой с плачущим стоном проносились снаряды и рвались где-то впереди,— там, где был Палевский проспект. Огромные, плотные, круглые серебряные облака стояли, как стена, в конце прямого Шлиссельбургского проспекта, и в этих облаках что-то урчало и перекатывалось, точно в огромном котелке варилась огромная чугунная картошка. «Там бой... Наверное, за Мурзинку... А может, уже за папину фабрику?» Протяжно воя, пронесся совсем низко снаряд, и через несколько секунд послышался взрыв — и опять там, в перспективе Шлиссельбургского, где был мой дом... И вдруг леденящая мысль обдала меня: «А если этот в наш дом?! И мне так страстно захотелось е щ е р а з увидеть наш дом, и бабушку, и родных, так сжалось сердце, что, не чувствуя страха, я почти бегом устремилась по проспекту на Палевский, на ходу выхватив из противогаза на всякий случай оба свои пропуска: пропуск для хождения по улицам во время ВТ» и «пропуск для проезда и прохода на фронт из г. Ленинграда и обратно».

Крепко держа оба пропуска в правой руке, левой придерживая сердце, я бежала к дому, где родилась, откуда открылся мир, первая любовь и неодолимый зов революции, к дому, откуда ушла в двадцать лет, презирая его и его обитателей за их «мещанскую сущность», к дому, который почти забыла,— я бежала к нему под гнусным воем снарядов, задыхаясь и обмирая от горя, что, может быть, не увижу его еще один раз. О, хоть раз! Хоть один раз...

Он был цел!

Цветы бессмертные

Я на мгновение остановилась перед ним, перед могучим тополем, который всю юность заглядывал ко мне в окно и под утро голубел, перед кривой калиткой палисадника. Мой был цел, но каким он стал маленьким! Еще меньше чем тогда, когда мы приехали из Углича. Но он был цел. Правда, такой же деревянный домишко, напротив был весь разворочен, но это было явно не сейчас, даже не сегодня, потому что пожара не было и от развалин пахло холодной

золой. Однако снаряды ложились, и ложились недалеко, и вдруг земля вздрогнула — это где-то, тоже невдалеке, упала бомба, и тотчас же отвратительно и безумно, как ведьмы, завыли сирены, и еще ударила бомба, предварительно смертельно просвистев, а крутые, круглые серебряные облака стали урчать еще громче. Переведя дыхание и вспомнив, что мне надо проститься с бабушкой, которая умирает, я вошла в наш дом.

...В той комнате, которую я помнила с детства, большое трюмо в простенке между окон уже совсем умерло — оно было подернуто как бы вечным туманом и ничего больше не отражало. В комнате было светло — это серебряные, смертельно урчащие облака освещали ее. Темной была только большущая икона Николая Чудотворца в углу, которой боялись мы с детства, с которой началось мое «иконоборчество» перед вступлением в комсомол. Красная лампадка горела перед Николаем Угодником, и поэтому выступающее из сплошного черного поля коричневое надменно-строгое лицо старца в митре, похожей на часовенку, казалось еще неумолимее и мертвеннее; фикусы, ненавидимые мной до исступления в то же время «иконоборчества» ужасно разрослись, так что стали похожи на какие-то наглые живые существа, и в комнате пахло одним из самых забытых запахов — грустным и чистым запахом ладана. Я охватила это и восприняла в одно мгновение, прежде чем в следующее воспринять самое поразительное: необычайное, почти торжественное спокойствие, царившее здесь, и гордую-гордую в невероятной простоте своей умирающую бабушку. Тетя Варя в косынке сестры милосердия с красным крестиком посредине стояла у нее в ногах,— тетя Варя работала в той же Александровской, точнее — Пролетарской больнице, которая вновь была госпиталем, и госпиталь ввиду близости переднего края считался прифронтовым.

Увидев меня, она спокойно подошла, поцеловала нежно и спокойно и негромко сказала:

— Она еще в сознании. Она будет рада тебе.

Я почему-то стащила платок с головы и подошла к постели бабушки. Сильный взрыв в этот миг сотряс наш домишко, красная лампадка перед бесстрастным ликом угодника закачалась из стороны в сторону, тетя Варя, став на цыпочки, остановила ее рукой. А бабушка лежала на подушках, по-крестьянски повязанная белым платочком;

ее лицо стало совсем-совсем маленьким и морщинистым, глаза запали очень глубоко, но смотрели из впадин своих умно и просветленно, как-то особенно по-живому мерцая. Но больше всего меня поразили ее сложенные на груди руки: они казались непомерно громадными — столько узлов и мозолей было на пальцах, такие вздувшиеся, крупные, синие вены увивали их. Это были руки женщины, которая из своих восьмидесяти семи лет работала ровно восемьдесят, руки матери, которая родила, кормила, пеленала и поднимала четырнадцать человек детей и множество внуков и даже правнуков, и пережила и похоронила многих из них, и закрывала им глаза этими же руками, и бросала первую горсть земли в их могилы. Я глядела на ее махонькое, чуть теплящееся лицо, на живо мерцающие глаза и на ее огромные руки с небывалым трепетом, почти со страхом, и вдруг подумала, что за всю свою жизнь я ничего-ничего хорошего не сделала и даже не сказала бабушке — вот с этими живыми глазами, с этими руками... Как я могла, чтобы так получилось? Я вспомнила вдруг так же, как она водила меня в баню, сажала в шайку с «холодненькой» водичкой, высасывала из глаз шипучее мыло и потом покупала у ворот бани черный и дико сладкий «рожок» или давала выпить кисленького квасу. А я? Что я сделала хорошего ей, тете Варе, отцу? Ничего. Мне не до них было, мне было некогда: первая пятилетка, ударные стройки, овладение теорией, своя жизнь — построение своей новой семьи,— ах, не до них мне было, не до них! Я новое общество строила, а тут бабушка и тети с ихними «днем ангела» и еще какой-то мещанской суетней...

Бабушка моя находилась как бы в полузабытьи, глядя на стену, когда я присела около.

— Мама,— окликнула ее тетя Варя,— к вам Ляля пришла проститься.

Глаза ее стали живее, и огромные руки зашевелились.

— Варька,— сказала она строго,— что ж ты госпиталь в такое время бросила?

— Там меня заменяют, мама,— покорно ответила тетя Варя и повторила: — К вам Лялечка пришла, вы видите?

Бабушка повернула ко мне голову, долго молча глядела на меня с неизъяснимой нежностью и любовью.

— Лялечка... внучка моя первая... Безбожница ты... комсомолка... Ну, все-таки дай я тебя благословлю. Не рассердишься?

— Нет, бабушка,— ответила я.

И вновь сильный взрыв шатнул наш старый дом, пока она узловатой, почти чугунной на вид, но легчайшей своей рукой медленно благословила меня. Я прижалась губами к ее руке, уже прохладной.

— Ну вот,— шелестела она еле слышно, но внятно,— ну, хоть одну внучку повидала... А Муська-то, Муська-то где?

— Она в Москве, бабушка...

— Москву-то... тоже бомбят?

— Тоже, бабушка...

— А где она, Москва? Ну, в какой стороне?

Не совсем поняв ее вопрос, я наугад указала на стену, возле которой она лежала.

— Вот в этой стороне, бабушка.

Она чуть-чуть повернулась к стене и вновь подняла свою огромную натруженную руку и небольшим крестом — на большой-то у нее уже не было сил — благословила ее, прошелестев:

— Спаси, господи, рабу твою Марию и красную твою столицу Москву...

И вдруг неведомое доселе чувство, похожее на разгорающееся зарево, начало подниматься во мне.

«Вот как она умирает: не спеша, торжественно... Вот прощается, благословляет... Это все, чем может она принять участие в войне... Это ее последний труд в жизни. Не смерть — последнее деяние. По-русски умирает, верней, отходит — истово, все понимая. И не в боге для нее дело, совсем не в боге. Говорили, когда умирал Павлов, он следил за своим состоянием и диктовал свои ощущения ассистенту, сидевшему около. И вот к нему постучали, хотели войти, но он ответил: «Павлов занят — Павлов умирает». Гений человечества — и темная моя бабушка... Впрочем, почему же она темная? Разве трудиться, любить, без конца любить, так, чтоб и последний час свой помнить о родных, о родине,— это не чистейшие вершины духа? Итак, гений Павлов и бабушка моя умирали одинаково — *бесстрашно и все время помня о жизни, и во имя ее* совершая последние деяния... Но ведь это вовсе не смерть, это вызов... Вызов бушующей кругом, насланной на нас смерти. Это воинская смерть. Но разве ж и мы не так умираем? Мы, те, кто под снарядами и кто дерется там, в этих урчащих облаках? Так! Не замечая смерти, помня только

о жизни. А раз так, значит... значит, смерти просто нет, и не надо ее ничуть бояться. Неужели же это правда, что ее нет?»

Примерно так, наступая друг на друга, повторяясь, неслись мысли. И невольно я отдернула руку свою от холодеющих ладоней бабушки и взглянула на ручные часы. «Мне же надо на объект и потом в райком и на радио...» Она уловила мой жест и ласково, чуть снисходительно улыбнулась, как улыбается взрослый над сплошавшим ребенком.

— Ступай, Лялечка,— прошептала она нежно,— ступай, родная, не жди... меня...

— Бабушка, ты прости меня,— ответила я так, точно прощалась с ней не навсегда, а до завтра,— мне действительно надо бежать, понимаешь...

— Я все понимаю, внученька, деточка, иди... Иди!

День вершин, «Гужово не взять»

Я вышла во двор наш, взглянула на сад — он был прекрасен в златосумрачном наряде своем, густой, вновь разросшийся после того, как в гражданскую его почти весь вырубили. Снаряды свистели над ним почти без перерыва — огонь был перенесен дальше. Мысли мои неслись все круче, все массивнее.

— Ляленка!— окликнул меня знакомый голос, и я увидела Авдотью, нашу Дуню, подходившую ко мне. В одной руке у нее был заступ, в другой узелок с пищей, голова повязана белоснежным платком.

— Дуня, Дунечка! — кинулась я к ней, ликуя.— Ой, как я рада, что тебя увидела... Ну, как ты? Где работаешь-то?

— А на оконах, известно дело,— ответила она, улыбаясь.— Вот и сейчас иду. Белый плат повязала, видишь?

— Вижу. Ну и что ж, что белый?

Она таинственно и значительно прошептала, озираясь на золотой сад:

— А то, цто он третьего дня листовки кидал: «выходите в белых платках — тогда бонбить не буду». Мы у себя на фабрике и порешили — а ну, выйдем в белых платках.

— Дуня, да вы что?! Ведь это же означает, что вы ему сдаетесь, понимаешь?!

— Ну да... Скажешь еще! Сдаемся! Мы его о б в е с т и хотим. Раз увидит, вышли женщины в белых платках, ну и бросит бонбить, а мы себе копаем да копаем, мало ли цто платки белые. Думаешь, под бонбами-то много натворишь? А нам там надо во какие ямины вырыть, цтоб он, цорт, в них себе обе ноги поломал.

Она с достоинством поправила платок, которым хотела «обвести» немца, и, вздохнув, добавила:

— А как немча-то разобьем, я в Гужово поеду, тот платок надену, помнишь — двулицной-то? Он у меня не надеванный ни разу — челехонек. В Гужове-то и обновлю его.

— Дуня,— невольно сказала я,— ведь Гужово-то немец взял... и Псков тоже.

Она взглянула на меня почти презрительно, даже надменно, как на непристойно хмельного, несущего чепуху.

— Не,— сказала она совершенно спокойно.— Это, Лялецка, дураки тебе наврали. Немцам нашего Гужова ни в кои веки не взять. Братуха-то разве допустит?

И с тем же нарастающим восторгом безбоязненности и сопротивления я молниеносно поняла: «Конечно! Разве можно взять Дунино Гужово? То есть н а в с е г д а взять? С его свирепыми лесами, кусачими лошадьми, злыми гусями и в особенности с братухой — с веселым, добрым и бесстрашным братухой? Нет, Гужова нельзя взять. И Ленинград не взять... Не взять, не взять!.. Это все п о к а, это бред какой-то, дичь, мы выстоим, конечно... А если гибель — то есть для меня... ну, пусть гибель — ведь ее нет!»

— Ольга! — вдруг окликнул меня отец.

Я с радостью обернулась на его зов. Он вбежал во дворик в своем простеньком, поношенном пальто реглане похожем на бабью юбку,— и по голубым веселым глазам его, по какому-то помолодевшему голосу я поняла, что им, как и мной, владеет то же веселое чувство сопротивления почти неминуемой гибели.

— У бабки была? — быстро спросил он.— А, ну хорошо. Я вот только что вырвался на минутку с приема. Ты погоди меня — я скоро. До Шлиссельбургского вместе пойдем. Да чего вы тут, дуры, стоите-то? — вдруг сердито

крикнул он.— Зайдите хоть за сарайчик. Ляпнет снарядом — костей не соберете.

А мне было все равно, ляпнет или не ляпнет, хотя до сегодняшнего дня каждая бомбежка и артобстрел — я, как политорганизатор, не укрывалась — стоили мне такого смертельного, такого всепожирающего страха, что после отбоя я чувствовала, что у меня существуют где-то далеко внизу холодные-холодные подошвы и вверху тоже ледяное лицо. Ни тела, ни рук своих я не ощущала.

Но сегодня я была спокойна.

— Ну, Ляленцка,— говорила Авдотья, приникая к моему лицу рыхлым своим, добрым лицом, целуя меня.— Ну, ты смотри ж, будь умничей, вракам не верь, под бонбы не лезь, а если цто — сразу противогаз надевай,— понимаешь, противогаз! Нам нацальник объяснял!

И, уже отойдя несколько шагов, обернулась и горестно добавила:

— *А цитать-писать я так и не науцилась. Ну вот уж* после этой войны научусь! Святой бог, науцусь!

И она погрозила кому-то заступом и ушла со двора, раскачивая могучими своими бедрами, о которые шлепался спасительный противогаз.

Я засмеялась, потому что мгновенно вспомнила, как обучал нас на «Электросиле» мерам противовоздушной обороны один инструктор и как он выкрикивал: «В екстренном случае воздушно-газовой тревоги — что мы делаем? Адиём противогаз! Адиём сапоги резинового характера!»

Вышел отец, посерьезневший, с картузиком в руке.

— Достойно тещa отходит,— сказал он негромко.— Вечная память...— И, упрямо тряхнув головой, точно сбрасывая какую-то внезапно свалившуюся на него тяжесть, сурово, с так понятным мне чувством вызова, улыбнулся и сказал: — Ну, пошли, девчонка. Кажется, потише стало.

И мы побежали с папой по Палевскому, по его древним деревянным мосткам, и оба, одержимые весельем сопротивления гибели, разговаривали бегло, телеграфно, почти невоспроизводимо.

Покосившись на меня, отец спросил:

— Ну... комиссаришь?

— Вроде... Политорганизатор. И еще работаю на радио. В разных отделах. В том числе в контрпропаганде. И еще в «Окнах ТАСС».

Я говорила возможно небрежнее, но не в силах была сдержать ни радости, ни гордости своей: ведь он все еще был для меня п а п о й, которого я побаивалась, а вот теперь я шла с ним, участником двух тяжелейших войн, под обстрелом, как равная.

Да, он был участником двух войн! Сначала воевал против императора Вильгельма. Мы видели портрет Вильгельма в «Ниве», с вытаращенными глазами, с ужасными усами, которые какими-то пиками подымались чуть не к самым глазам, с каской на голове, и верхушка каски заканчивалась тоже острой, как его ус, пикой. Один раз папа приехал на несколько дней с войны, когда его санитарный поезд стоял недалеко, в каких-то Сувалках, привез такую каску и подарил нам играть. Она была с пикой на макушке, отвратительный орел с высунутым языком хищно топырил когтистые свои лапы, и главное, из каски пахло чем-то нестерпимо кислым и душным — мы сообразили: пахло... войной! Мы не стали играть с каской... ни я, ни Муська, даже не примерили ее, а, повертев в руках, тихонько, брезгливо засунули за печку...

Потом папа воевал против белых на юге — против Врангеля, и Каледина, и Краснова. Он был начальником санитарного поезда «Красные орлы», потом уже после того, как привез нас из Углича в Петроград, вместе с нашими частями шел по кронштадтскому льду на подавление контрреволюционного мятежа и оказывал раненым помощь — он был отличным военно-полевым хирургом,— и вот я первый раз в жизни шла с ним как равная, больше — как солдат рядом с солдатом, и потому и выложила ему про все свои военные работы так много и так небрежно.

— Хотели еще в военную газету взять, но я отказалась — и так еле справляюсь,— добавила я.

Папа фыркнул круглыми ноздрями и зашевелил бровями, что означало высшую степень огорчения или досады.

— Н-да... Таких девчонок, как ты, берут в армию, а мне отказали!

— В чем!

— Я в народное ополчение просился,— помолчав, сказал он таким жалобным, виноватым, мальчишеским голосом, что вздыбленное мое сердце и то замерло: я поняла, что мой папа, участник двух войн, з а в и д у е т мне!

— Ты просто ненормальный! — сказала я ему как можно суше.— У тебя же возраст, сердце — куда тебе в ополчение?

— Вот-вот,— сварливо подтвердил он.— твои товарищи мне так же сказали: доктор, ваше дело — отбирать в армию и в ополчение, и только. А я бы хотел сам в народное ополчение... Я военно-полевой хирург, что́, я был бы лишним? А твои товарищи — бюрократы! Да-да!

Тут надо сказать, что с тех лет, как я, вопреки отцовской воле, ушла из-за Невской заставы, папа считал «моими» и партию, и всю историю, и все победы наши, и все недостатки. Он говорил: «Ну, кажется, с твоей пятилеткой что-то все-таки выгорает...» или «Ну вот, опять твои товарищи перекачали». Да в общем, все было «мое», и я отвечала перед папой решительно за все — ух, это было трудновато!

И вот сейчас он опять в чем-то обвиняя меня, именно меня и завидовал мне, и просто роптал по нелепейшему поводу: почему его, уже старика, не взяли в народное ополчение? Но и зависть его, и ропот дополняли ту отчаянную радость, ту неистовую свободу и свет, которые все нарастали и нарастали во мне.

Мы добежали до угла Палевского и Шлиссельбургского и остановились на углу. Тут, направо, еще совсем недавно стояла общественная уборная из гофрированного железа, такая, что снизу видны были ноги заходящих в нее граждан, а крыша у нее была сооружена в точном виде германской каски, с орлом спереди и с пикой на макушке. Уборная возводилась заставскими патриотами-торговцами на втором году первой империалистической войны, и с тех пор я и помнила ее. А напротив, по левую руку, тоже совсем недавно располагалось другое сооружение — торговое: то был шаткий дощатый прилавок, вернее лоток, над которым на двух рейках трепетал дощатый навес; под этим неверным укрытием стоял старичок, дядя Гриша, который в самом начале нэпа выстроил этот «магазин» и открыл здесь торговлю ирисками и тянучками. Каждое утро, по дороге в школу, я подходила к дяде Грише и спрашивала:

— Дядя Гриша, почем сегодня тянучка?

— Сегодня — двести восемьдесят миллионов штука,— отвечал он невозмутимо.

То была пора инфляции, когда рубль неудержимо падал, и так приятно стало и вначале удивительно, когда вдруг миллиарды и миллионы превратились в рубли и даже в копейки и появились первые монеты: настоящие серебряные рубли, полтинники, двугривенные, большие увесистые медные пятаки, крохотные полушки. На серебряных монетах были изображены крестьянин и рабочий: обнявшись, они смотрели вдаль, а за ними всходило солнце.

Теперь не было ни ларька дяди Гриши, ни уборной с крышей в виде вильгельмовской каски, но я вспомнила их так, точно увидела воочию...

— Ну,— сказал папа,— пока, девчонка! — И, помолчав секунду, спросил негромко: — Как Николай?

— Сначала, получив белый билет, очень горевал. Даром что отступление их рота прикрывала от самого Кингисеппа... Теперь ничего, работает в ПВО. Пишет для военной газеты. И знаешь, даже продолжает свою статью «Лермонтов и Маяковский».

— Не люблю я твоего Маяковского,— сказал папа.— Есенин — это да.

— Полюбишь, когда прочтешь Колину работу. А после войны он сразу возьмется за большую книгу: «Пять поэтов. Пушкин — Лермонтов — Некрасов — Блок — Маяковский». Это так здорово задумано у него, он уже столько набросков сделал! И даже сейчас, когда не дежурит...

— Вам надо уехать,— перебил меня отец, глядя в сторону.— Вам обязательно надо уехать. Любыми средствами.

— Но ведь ты-то не уезжаешь? Еще в ополчение просишься...

— Ну-ну-ну! — прикрикнул он сердито.— В древних книгах написано: «Горе тому, кто покинет осажденный город».

— Справедливо. Вот и мы...

— Он может не выдержать с его болезнью,— сказал папа почти сквозь зубы и тут же, перебив себя, тряхнул головой, почти весело воскликнул:— Заболтались! А нас дело ждет. Будь здорова, девчонка.

Он чуть толкнул меня в плечо, не поцеловал, не пожал руки, не обнял и почти побежал направо, по Шлиссельбургскому, не останавливаясь и не оглядываясь.

Это не было ни позой, ни насилием над собой, просто он, как и я, знал, что мы не можем погибнуть. А я еще

целое мгновение смотрела ему вслед, на его раздувающееся смешное пальто, смотрела в глубь Невской заставы, туда, где была папина фабрика, и тети Вари госпиталь, и чугунный, самый большой за Невской заставой — Обуховский, а там стеной стояли круглые, библейски прекрасные, первозданные облака и рокотали и урчали все громче. Я взглянула туда, и вся жизнь моя вдруг распростерлась передо мной. И с немыслимой стремительностью, которую не в силах обрести слово, катились сквозь душу картины всей моей жизни и жизни моей родины и воспоминания о том, что свершилось еще до моей памяти.

Нет, я не вспоминала, я жила тем, что было, есть, будет. Эти восопереживания были внезапны, отрывочны, разбросаны и в то же время слиты в единый сплошной поток — нет, в нечто, подобное сильному южному морскому прибою, который окатывал нестерпимым, почти болезненным счастьем.

Сказали когда-то: времени больше не будет. Верите ли вы, что это верно,— я знаю это, я знаю, как не бывает времени! В тот день его не было — все оно сжалось в один лучевой пучок во мне, все время, все бытие. И весело рухнули перегородки между жизнью и смертью, между искусством и жизнью, между прошлым, настоящим и будущим. О, как хрупки они оказались, как условны, как легко было мне наслаждаться всей жизнью сразу, всей поэзией и всей трагедией ее на самом ее краю, на краю жизни, на углу Палевского и Шлиссельбургского, между тенями нелепых сооружений прошлого, в минуту притихшего артобстрела.

Как бы эфирною струею
По жилам небо протекло...

В мгновения, только в мгновения вмещалась вся жизнь, а мне нужны для них — страницы. Внезапно вспыхивали эти мгновения всей жизни, и я не буду задним числом искать им других объяснений. Я не знаю, почему, глядя на исчезающую вдали фигурку отца, я подумала, что вот он идет к себе на фабрику, а на этой фабрике появилось первое мое напечатанное стихотворение, и оно было о Ленине. Ленин! И волна неистового тепла и света обдала меня...

Ленин

Он вошел в сознание с самого раннего детства — в пору жадной мечты о Дунином Гужове, в пору первого соприкосновения со стихами Лермонтова о дубовом листке и одиноком утесе, в ту смутную, как бы предрассветную пору, когда сказка и действительность еще неотделимы друг от друга и довольно намека, чтобы самому создать легенду и поверить в нее.

Папа был на войне,— война с Вильгельмом все шла и никак не могла кончиться, и папа больше не приезжал к нам после того единственного раза, когда привозил каску, и мы уже стали забывать его, какой он на самом деле, и было лето, и мы жили в Финляндии, и воздух был напоен горячим дыханием сосновой хвои и смолы, *и струился нежнейший запах нагретого песка у взморья,* а взрослые тревожно шептались:

— В Петрограде была огромная манифестация фабричных...

— Говорят, на Невском творилось что-то невероятное, особенно у Садовой... И все — с красными флагами! Тысячи, тысячи людей...

— Это Ленин их поднял...

— Все фабричные за Ленина горой. И чугунолитейные за ним же встали...

— Да, но он приехал из Германии в запломбированном вагоне?!

— Боже, так рисковать! Ехать сейчас через Германию... Ужас!

— Но, подумайте, его даже это не остановило! Он рвался к питерским рабочим.

И вот в воображении возник сказочно сильный и бесстрашный Ленин, человек, за которым «идут все фабричные». Я часто видела, каким сплошным, огромным потоком выходят они из распахнутых ворот фабрики, где работал дедушка, как их много, какой гул поднимается над ними,— а тут все идут за одним Лениным! И всё идут, идут и идут... И чугунолитейные заводы тоже как-то встают за Лениным,— дрожащее, угрюмое зарево над ними всегда было видно из окошек нашего дома по вечерам. Что-то тяжелое, огромное ухало и грохотало там так, что бывало слышно в комнатах, и вот все это встало за Лениным — то,

что грохочет, то, что источает багровый трепещущий свет... А он, Ленин, ехал через Германию, где властвует царь Вильгельм с его страшными усами, в каске с орлом и пикой, и живет еще миллион таких же усатых, ужасных немцев, с которыми воюет наш отец и все солдаты, но Ленин нисколько не побоялся проехать через эту страну, да еще в каком-то особенном, «запломбированном» вагоне,— ему нужно было к рабочим из-за нашей Невской заставы, с дедушкиной фабрики, с дяди Шуриного Обуховского завода.

Потом в памяти вспыхнула ночь, когда я в неистовом страхе прижималась к Дуне, потому что окна нашей комнаты были полны ярко-розового света,— значит, где-то недалеко был пожар, а я больше всего на свете боялась пожаров... Меня трясла мелкая холодная дрожь, а Авдотья, глядя в розовое окно, прижимая меня к себе, шептала:

— Ницего, Лялецка, ницего... Это уцасток горит — твоего дедушки фабрицные опять бунтуют... Мало им, цто государя-анператора свергнули, теперь вот и сам уцасток подожгли... Ницего, он далеко, головешки к нам не залетят, не бойся...

Участок на углу Палевского и Шлиссельбургского, там, где встал потом мелкий нэпман дядя Гриша со своими тянучками, сожгли почему-то не в феврале, а в октябре семнадцатого года. Утром мы ходили с мамой на проспект и видели, как еще дымились развалины участка, а по Шлиссельбургскому мчались грузовики, в кузове которых, опираясь на ружья, стояли рабочие в кожанках и матросы, крест-накрест опоясанные пулеметными лентами, и ветер раздувал у них на груди огромные красные банты.

И снова имя Ленина не сходило с уст всей Невской заставы, и рядом с именем его звучали грозные, красивые слова: «декрет», «Совнарком», «революция», и все легендарней, все могущественней представлялся он моему детству.

Потом мы уехали в Углич, и там я пошла в школу, я росла, училась и уже, как все школьники, знала, что Владимир Ильич Ульянов-Ленин — это председатель Совета Народных Комиссаров, наш вождь, и что это Ленин указывает, как победить Колчака и всех других проклятых беляков, из-за которых мы так ужасно голодаем, и мерзнем, и давным-давно живем без отцов. Он все время думал, он все время беспокоился о нас, Владимир Ильич Ульянов-Ленин,— и уж как мы надеялись на него!

Потом, по дороге из Углича в Петроград, ночью, в бедственном, наполовину пораженном сыпняком вагоне, проснувшись на рассвете, я случайно услышала, как какой-то старик рассказывая о Волховстрое, который «зальет светом всю Расею», а Волховстрой велел строить Ленин. Потом, в начале двадцатых годов, за Невской заставой в нашем старом деревянном доме впервые зажглись электрические лампочки, и их называли «лампочки Ильича»... Как великая, порой грозная сила, как великий добрый свет — так с самого раннего детства входил Ленин в сердца моего поколения. По мере того как мы росли, образ его становился все человечнее, все ближе к душе, и любовь наша к нему была глубоко человечной — она была постоянна, естественна и спокойна, как дыхание здорового человека. Но как мы испугались, когда он захворал! Вслед за поэтом мы твердили, бормотали, заклинали:

Тенью истемня весенний день,
выклеен правительственный бюллетень.

Нет!
Не надо!..
Не хотим!..

Мы готовили в школе вечер к девятнадцатой годовщине Кровавого воскресенья девятьсот пятого года: ставили инсценировку, репетировали коллективную декламацию, проводили спевки — хором пели «Вихри враждебные», «Замучен тяжелой неволей»,— мы готовились к вечеру так, точно взаправду должны были драться на баррикадах.

«На баррикады — буржуям нет пощады!» — не пели, выкрикивали мы. О, как хотелось на баррикады — взаправду, как хотелось умереть за Революцию! Только-только отгремевшая тачанками, отгоревшая пожарами, кострами, смердящими «буржуйками», отбредившая в сыпняке гражданская война, когда мы так холодали и голодали, казалась нам уже легендарно-прекрасной порой, и, забыв, что мы сами тоже ведь какие-то участники ее, мы завидовали тем, кто успел родиться вовремя, так, чтобы сражаться за Революцию с оружием в руках.

Но уж зато на демонстрации против лорда Керзона, который вдруг пригрозил опять интервенцией — значит, опять голодом, угличской ледовитой зимой, войной,— на этой демонстрации мы дали себе волюшку! Мы выскочили

из школы с плакатом, на котором косыми черными буквами был начертан, конечно же, уже разнесшийся по заставе клич: «Лорду в морду!», и с размаху очень удачно влились в жаркий, кричащий, грохающий ногами по булыжнику, ревущий медными трубами, полыхающий знаменами и красными платками поток рабочих — ткачей, металлистов, прядильщиц... И мы сразу попали в ногу и пошли с ними как равные, и нашему второму параллельному к тому же очень повезло, потому что прямо перед нами двигался грузовик, на котором был установлен длинный черный гроб, и очень красивый молодой рабочий — живой — в синем комбинезоне держался за огромный кол, косо всаженный в крышку гроба, а на кузове грузовика был туго натянут плакат: «Вобьем осиновый кол в гроб мировой буржуазии».

Мы стремительно шли — не шли, а прямо-таки катились в общем потоке вдоль по Шлиссельбургскому, мимо старых, сумрачных цехов Семянниковского, мимо дощатых и бревенчатых заставских домов — туда, в город. Гнев и отвага полыхали на лицах людей, неумытых, потных, запыленных и закопченных,— они вышли на улицу прямо от станков. На проспекте пахло машинным маслом, пылью пряжи, духотой жиров со Стеаринового. Кто-то кричал с грузовика около Семянниковского: «Долой акул империализма!», и мы неистово подхватывали: «До-ло-о-й!» и пели, пели во все горло, стараясь перекричать друг друга:

Белая армия, черный барон
Снова готовят нам царский трон.
Но от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней!
Так пусть же Красная
Сжимает властно
Свой штык мозолистой рукой,
И все должны мы
Неудержимо
Идти в последний, смертный бой!

И еще мы пели «Смело, товарищи, в ногу...» и «Слезами залит мир безбрежный...», песню с пронзающим припевом о знамени:

То наша кровь горит огнем,
То кровь товарищей на нем...—

и еще другие песни, и без конца «Интернационал», «Интернационал», «Интернационал» — «Это есть наш последний

и решительный бой!» И вот что удивительно: в тот день каждая песня была вовсе не песней, а просто настоящей правдой — и про британские моря, и про то, что мы готовы идти в бой,— да мы вовсе и не пели песни, мы только выговаривали, выдыхали то, что было на душе, все мы — и рабочие, и школьники, и учителя, шагавшие рядом с нами.

...Возвращаясь от умирающей бабушки осенью сорок первого года, я подходила как раз к Семянниковскому заводу, миновав нашу старую кирпичную школу, когда это воспоминание — нет, живое, жгучее желание погибнуть за Революцию, этот священный отроческий трепет, впервые испытанный на демонстрации против лорда Керзона, нагнал меня, как волна, и тотчас же слился с сегодняшним состоянием сопротивления, бесстрашия и безграничной свободы. Казалось, уже нельзя быть более свободной, но свобода все нарастала во мне и вокруг меня, и новые воспоминания (воспереживания?) рождались звено за звеном, звено за звеном...

...Да, демонстрация (их называли тогда еще по-старому — манифестация) против лорда Керзона была в мае 1923 года, и Ленин уже тогда был болен, но уже шел январь двадцать четвертого, мы готовились к вечеру Девятого января, а он все еще хворал, и бюллетени не сообщали ничего хорошего...

Нет!
Не надо!..
Не хотим!..

...Смерть Ильича была для нашего поколения тем рубежом, с которого мы из детства шагнули прямо в юность, почти миновав ту тревожную, неопределенную пору, которую называют отрочеством... Мы повзрослели и возмужали сразу на несколько лет в тот жестоко морозный день, когда засугробленная, заиндевевшая рабочая окраина, Невская застава, рыдала над Ильичем всеми гудками всех своих чугунолитейных заводов, всех своих прядильно-ткацких фабрик — тех, что встали за ним, тех, что шли за ним в семнадцатом году,— захлебывалась гулкими прерывистыми гудками паровозов. Она голосила, как русская вдова или мать, потерявшая сына, она рыдала в голос безоглядно, самозабвенно, долго-долго — осиротевшая, бревенчатая

и дощатая, заваленная вечереющим снегом Невская застава.

До сих пор оттуда, из-за тридцати пяти лет, слышу я этот неповторимый траурный гул. Наверно, в городе, где были кондитерские с пирожными и гуляли по Невскому нэпманы, не так все было слышно, как у нас за Невской,— ведь тут фабрики и заводы стояли рядом, бок о бок. Они загудели совсем иначе, чем гудели каждое утро — каждый гудок по очереди, один за другим,— они загудели как-то все сразу, хотя сначала я различала могучий гудок Семянниковского и высокий голос дедушкиной фабрики, но потом все слилось в сплошное гудение. Мы с подругой Валей стояли на самой середине нашего двора, засыпанного снегом, а траурный гул становился все громче и громче, и вдруг стало мне казаться, что грудь разверзается, хлещет туда ледяной воздух, и уже нечем дышать, и я как будто тоже стала вся гудеть, исчезать и подниматься ввысь, куда тянуло, как в гигантскую трубу, меня, наш двор, сугробы, сарайчик — все на земле...

«Да. Это на всей земле. Все гудит. А люди стоят. Как мы с Валей: не шевелясь»,— и вновь, как на волжском вокзале по дороге в Петроград, я ощутила, что меня отдельно нет: есть что-то огромное, что неистово, изо всех сил, кричит от горя, и я вся — только этот общий всепоглощающий вопль. Есть всеобщее оцепенение — и я цепенею, слитно со всеми. Мы — один кусок льда. Но вопль этот, это всеобщее оцепенение — ведь это же вызов всему миру. Да, вызов. Потому что заставское дыхание достигло такой силы, что звучало уже как угроза,— нет, как торжество.

И трагедийный гул длился долго, казалось, очень долго и затих постепенно, только еще целые полминуты пронзительно всхлипывала какая-то «кукушка» на ближнем заводе, но вот и она замолкла, и абсолютная тишина рухнула на вечереющий наш дворик и оглушила нас с Валей. Мы продолжали стоять все так же неподвижно, навытяжку и молчали. Долго молчали...

— Валя,— наконец сказала я,— я вступлю в комсомол. Немедленно. Мне не хватает лет, но я упрошу... Бабушка против из-за бога, а мама из-за мальчишек. Но я все равно вступлю.

— Я тоже,— негромко отозвалась черненькая худенькая Валя Балкина...

...Мы говорили, все еще стоя неподвижно, навытяжку.

— Валя, я должна открыть тебе страшную тайну. Я уже довольно давно не верю в бога. Знаешь, его нет.

— Знаю,— ответила Валя.— Я тоже не верю в бога и вступлю в комсомол.

— Валя,— сказала я, почти задыхаясь от странного нового счастья,— я вступлю в комсомол и буду профессиональным революционером. Я всю жизнь буду профессиональным революционером. Как Ленин.

И не тот мороз, который стоял кругом, а внутренний холод — озноб восторга, озноб самоотречения — пробежал по позвоночному столбу: не умом — всем существом, всей плотью и духом я поняла, ч т о д а л а к л я т в у, что не смогу ее нарушить, потому что с момента этой клятвы началась у меня совсем новая жизнь, и отказаться от нее,— это значит перестать жить...

...И если что-либо дает мне до сих пор силы, несмотря ни на какие горести, жить полноценно, жить всем существом — это вера в то, что я не нарушила своей давней, отроческой клятвы, это сознание, что я принадлежу к Партии, сплавленной именем Ленина...

«Ты напечатана у нас»

...И, замолчав, мы все еще продолжали стоять с Валей неподвижно, навытяжку, среди сугробов, пока из форточки не окликнула меня бабушка Ольга:

— Лялька! Ты что там, замерзнуть хочешь, дура? Я вот тебя отмотаю за косы...

Она крикнула сердито, даже зло — но какое дело мне было теперь до бабушки Ольги и ее угроз? И до доброй бабы Маши? И даже до мамы и папы? И до Муськи? И вообще до всего нашего дома? Ни малейшего.

Полная отчужденности и важной тишины, опустившейся в душу после клятвы среди заснеженных дровяных сарайчиков, я молча прошла на кухню, в Дунин угол, и стала писать стихи о Ленине. Я написала о том, что только что было:

Как у нас гудки сегодня пели!
Точно все заводы
встали на колени.

Ведь они теперь осиротели.
Умер Ленин...
Милый Ленин...

И когда внутри у меня сказалось, а потом я написала на бумаге: «милый Ленин»,— так жалко мне его стало, так невыносимо жалко, что слезы сами покатились из глаз. Я не всхлипывала, только смахивала их указательным пальцем и все писала, писала, стараясь, чтоб каждая строфа заканчивалась, как первая, словами: «милый Ленин...»

Я нарочно села в кухне, а не в столовой, чтоб никто не видел, что я сочиняю, но отец, проходя мимо, заметил все-таки, что я сижу над тетрадкой. Улыбаясь каким-то своим мыслям, он сразу посерьезнел, увидев меня, и подошел тихонько.

— Ну что?.. Вдохновение напало? — спросил он осторожно.

— Да.

— Ну-ну... Пиши, девчонка. Я не буду мешать. Покажешь, а?

— Если выйдет.

В семье к моему стихотворчеству относились по-разному. Авдотья — обычно первый слушатель моих стихов — благоговейно изумлялась.

— Лялецка! И все это ты — из своей головы?!

— Из своей, Дуня.

— Ай, умница. А я, дура неграмотная, грамоту никак не осилю. Мне бы не стих, мне бы письмо в Гужово написать, хоть одно письмецо, с поклонами, хоть одно-единешенькое, да самой бы!

Маме нравилось буквально все, что бы я ни писала, она восторгалась, но как-то так, что мне становилось стыдно, а главное — она всегда отбирала у меня черновики стихов и прятала в комод, чтобы потом читать их знакомым и гостям и без конца говорить, какая я «одаренная девочка», а мне от этого хотелось потихоньку стонать...

Папе одно нравилось, а другое — нет. Когда я прочитала ему стих о нашем саде, он покрутил головой, взъерошил волосы и сказал: «Очень здорово... Как у Пушкина!» — и целый вечер, по привычке своей расхаживая по квартире и ероша волосы, гудел первую строчку:

Ты дремлешь, старый сад, осыпанный морозом...

А когда я влюбилась в одного мальчика из девятого параллельного и написала стихотворение:

Ландыши! Душистые,
Чудные цветы!
Слезы серебристые
Девичьей мечты,—

он сказал: «М-да»... и негромко, но очень обидно пропел на лихой мотивчик «Далеко от Типперерри...»:

Сантименты! Сантименты!
Сантименты, господа!

И так как я знала, что для папы слово «сантименты» хуже всякого ругательства, я расплакалась от огорчения и обиды. Мама потихоньку утешала меня и говорила, что стихотворение «чу́дное, чу́дное» и что папа не понял его, так же, как не понимает и ее... Но я-то знала, что папа все понимает.

И вот потому, когда я написала свое самое первое стихотворение о революции, о Ленине, я прочитала его папе — без мамы, без Муськи, без Авдотьи, ему одному. У меня ужасно стучало сердце, когда я закончила чтение, а папа ничего не говорил, только смотрел на меня долгим, новым взглядом, потом протянул руку, молча прочитал стихи и сказал строго:

— Перепиши начисто, покрасивей. Я покажу это в нашей стенгазете. Может быть, даже и напечатают... Мне кажется, могут напечатать.

Через два дня он пришел с работы важный, даже какой-то напыженный, и в то же время явно ликующий — он совершенно не умел прятать радость, хоть на время прикрывать ее важностью или безразличием, ему не терпелось раздать ее другим. В то же время он не умел жаловаться на невзгоды — он стыдился, если был несчастен, точно сам был виноват в этом...

— Ну, Лялька, дела обстоят так...— важно начал он и тут же воскликнул, хлопая в ладоши: — Напечатали! Понимаешь, в нашей стенгазете напечатали! Сказали — отлично. Поздравляю. Теперь, пожалуй, ты настоящий поэт: напечатали!

Мне стало ужасно приятно и даже страшно. Я покраснела, выскочила в другую комнату и, закрыв глаза, рас-

ставив руки, немножко, но очень быстро покружилась, как тогда, когда была маленькой. Потом посмотрела на себя в трюмо: ну-ка, какая я стала после того, как мое стихотворение напечатали? Ведь я же теперь... настоящий поэт! Увы, я была все та же — курносая, с длинными светлыми косами. А мне так хотелось быть стриженой, как настоящие комсомолки, и носить толстовку! О кожанке я только мечтала, как о прямом, «классическом» носе... Но все-таки мой стих напечатали, и я... я попрошусь у папы прийти завтра на фабрику и посмотреть на свой стих в стенгазете!

И на другой день — морозный, дымно-розовый, хрустящий — я на конке доехала до Фарфорового завода, а потом через Неву, по звонкой тропинке, перебежала на правый берег, где рядом с приземистыми кирпичными зданиями бумажной фабрики, бывшей Варгунина, стояла папина суконная, зашла к нему в амбулаторию — уютнейший бревенчатый домик с палисадником, окруженный низеньким деревянным заборчиком,— и он провел меня в фабком, где висела стенгазета. Мое стихотворение было действительно напечатано на настоящей пишущей машинке лиловыми крупными буквами, только не совсем ровными — одна буква была ниже, другая выше, но оно было наклеено в самой середине стенгазеты, и над ним были нарисованы склоненные траурные знамена, а под стихотворением очень крупно были написаны моя фамилия, и главное, полное «взрослое» имя. Было написано «Ольга»... а не «Ляля», как звали меня дома.

Я очень долго стояла перед стенгазетой, прочла все заметки, в которых ткачи и ткачихи бывшей фабрики Торнтона вспоминали об Ильиче,— они знали его запросто, живым, еще тогда, когда он совсем молодым приезжал на конке за Невскую заставу к первым рабочим-подпольщикам. И вот посредине этих заметок — косноязычных, угловатых, полных непередаваемо суровой нежности и любви к Ильичу — было мое стихотворение. Первая авторская гордость (невероятнейшая!), смешанная с первым (жесточайшим!) смущением перед еще не заслуженной честью — распирала мое сердце.

«Я буду профессиональным революционером,— повторила я слова, которые уже четыре дня не оставляли меня,— я буду профессиональным революционером-поэтом. Я сравняюсь даже с рабкорами».

...Возвращаясь в город по безлюдной, зловеще притихшей Невской заставе и вспомнив зрительно ту, в неровных лиловых буквах и наивных рисунках, стенгазету, я вновь испытывала смущение и боль, что все еще «не сравнялась с рабкорами».

Все дальше и дальше отходил, все стремительнее и бесповоротнее забывался сегодняшний день, а самое дальнее и даже не бывшее со мною приблизилось, подхватило и понесло в дали, которых я еще не знала. При воспоминании о первом напечатанном стихотворении подхватил меня вал поэзии...

День вершин, Лермонтов

Поэзия стала частью моей жизни тоже с самого раннего детства. Я едва научилась писать и писала большими печатными буквами, не отделяя еще слово от слова, писала так, как люди говорили — ведь говорили-то они без запятых и точек, слитно,— и вот однажды, длинным зимним вечером, в старой хрестоматии с обложкой цвета жуковского мыла мне попалось на глаза маленькое стихотворение, которое начиналось так:

> Вот север, тучи нагоняя,
> Дохнул, завыл — и вот сама
> Идет волшебница зима...

Я замерла: была как раз зима, и улица и наш сад были в клокастом инее, в пушистом снегу, и все в стихе было сказано как будто бы об этом самом, нашем, которое я просто вижу, но в стихе было все это так удивительно, что я сразу поняла, что зима-то ж и в а я, потому что она п р и ш л а, что ведь она взаправду волшебница, и север живой — он «завыл», что и стих и наша заставская зима — это одно, но как это все в стихе красиво!

Я прочитала стишок еще раз и еще, и мне вдруг так захотелось, чтоб все это ужасно правильное, изумительно красивое про зиму было сказано... мною!

Нет, мне никак не передать сейчас этот первозданный восторг перед животворящим, одухотворяющим чудом поэ-

зии. Да этот восторг вообще ни передать, ни пересказать, ни объяснить нельзя. В этом тайна поэзии, и в тайне этой — ее власть.

Воровато оглянувшись, я переписала на большой лист бумаги стишок из хрестоматии, большими печатными буквами, без просветов между словами, засунула хрестоматию далеко-далеко под кушетку, чтобы ее больше никто никогда в жизни не нашел, и побежала к бабе Маше: я сидела как раз у нее, а они все жили в нашем же доме, внизу.

— Бабушка! — закричала я, дрожа от восторга.— Бабушка, послушай-ка, что я сама сочинила!

— Ай да молодец,— сказала бабушка,— ведь как складно!

И никакого сомнения в том, что это сочинила я сама, у меня больше не было.

И все-таки первой моей сознательной любовью в поэзии был Лермонтов. Толстенькая книжка в сером потрепанном переплете, с портретом грустного большеглазого гусара, нарисованным «ниточками» (это была гравюра), лежала у меня под подушкой ночью, я не выпускала ее из рук днем, если не надо было штопать чулки или что-нибудь помогать по дому,— это было как раз перед отъездом в Углич, мне было семь и потом восемь лет...

Красота и человечность лермонтовских стихов, неосознаваемые, а потому тем более властные, пленили меня всей силой своею. И если через пушкинские строки я открыла, узнала, что зима — живая и север — ветер — живой, то в лермонтовских стихах мне открылось, что не только все кругом живое, но все про меня! Я прочла и тут же запомнила стихи об одинокой сосне, о листочке дубовом, об утесе и золотой тучке. Как жалко было сосну, утес, дубовый листок! С тех пор для меня осенью все листья неслись из-за Невской заставы только на юг, и все самые жемчужные облака шли только на юг, и каждому дереву в нашем пыльном и дымном саду снилось другое, далекое, прекрасное, с которым никогда-никогда не увидеться, но почему же все это было и про меня?! Почему — вместе с сосной и утесом — так мучительно жалко себя, почему я одна, совсем одна на свете, и так одиноко, что плакать хочется, почему меня никто не любит (все они только притворяются, будто любят меня), что это такое

со мной,— чинара, гордая чинара, почему ты не хочешь приютить дубовый листок — меня? Почему?!

Засох и увял он от холода, зноя и горя...

Нет, я не вынесу этого... я не могу больше! Если б умчаться в море, как парус одинокий! В огромное море — одной, одной, ведь в море одной не страшно, ведь парус не боится бури,— я тоже!

О, как сладостно было это мучение, эта тоска о невиданном, желанном друге — прекрасной пальме, мечта о бесстрашии перед бурей — перед гибелью, как я счастлива, что еще на рассвете сознания мне дано было изведать это упоение, это пленение, эту власть поэзии, это приобщение ко всему миру через ее волшебные, непостижимые умом напевы, как счастлива я, что до сих пор она сильнее всего владычит над сердцем и над жизнью моею.

Среди множества ремесел и искусств, воздействующих на человеческую душу, нет силы более доброй и более беспощадной, чем поэзия. Она все может. Я утверждаю: она сильнее атомной бомбы — разрушающее и творящее слово, пропитанное кровью любящего сердца, светом ищущего духа, окрыленное великой нашей идеей. Нет подчинения более добровольного и более неодолимого, чем подчинение поэзии. Нет любви более вознаграждаемой, чем любовь к поэзии: любящий поэзию — дважды поэт. Нет доверия более простого и обогащающего, чем доверие к поэзии. Но доверять ей нужно безгранично и безоглядно — безоговорочно, потому что она бескорыстна, потому что ведь она-то доверяется тебе вполне, она готова отдать тебе всю неисчерпаемость свою, весь сумрак свой и все дневные звезды — твои и чужие, горящие и зримые только в ее глубинах. Доверяющий поэзии одарен судьбою, как говорили в старину — блажен. Снова и снова повторяю: я счастлива, что с самого раннего детства награждена даром безоговорочного доверия к поэзии.

Но я пленялась не только теми стихами, которые были «про меня», но и множеством других лермонтовских стихов. Правда, в толстенькой книге Лермонтова многие стихи были почему-то непонятны, и в смущении за себя и за поэта я пропускала их, но понятные стихи «не про меня» волновали не меньше, а, пожалуй, даже чуть больше — ведь точно в чужое окошко с высоких мостков ве-

чером, я заглядывала в чью-то другую, не мою, укрытую от всех жизнь и, узнав о ней, становилась соучастницей ее, обладательницей важной чужой тайны... Тяга к таинственному, жажда узнать ее или, что еще сладостнее, поделиться этим с подругой: «Валя, Валя, что я знаю! Только, чур, это тайна...» — сколько чистейшей радости в этом, и как хорошо, если хоть в какой-то мере остается эта тяга и в зрелом возрасте, и как нищ, как жалок человек, для которого все решительно понятно и нет ничего таинственного даже в искусстве... Именно сумрачной тайной своей пленяли и изумляли меня стихи. «В полдневный жар в долине Дагестана...» О, почему же убитому гусару, который лежит в долине с дымящейся раной в груди, снится далекая-далекая красавица, а ей снится он? Как почуяла она, что он убит, как, умирая, узнал он, что она думает о нем? Но ведь это все правда, это так и есть, и убитый гусар похож на Лермонтова с его большими *грустными* глазами, а на убитого гусара и самого Лермонтова похож витязь, спящий на дне реки, витязь, о котором так удивительно поет русалка... Очарованная этим стихотворением, я твердила его наизусть, про себя, целый день, изнемогая от наслаждения прекрасной, не своей грустью.

Но я — в отца, я не в силах о д н а выносить бремя радости, мне необходимо поделиться ею с другими, похвалиться ею. Наверное, это корыстное чувство: ведь в то время как разделенное горе съеживается, уменьшается, разделенная радость нарастает, крепнет, разгорается в тебе, и ты становишься все богаче, все счастливее. Нет, я просто не могла владеть о д н а этой голубой рекой, той волшебной песней русалки! Взяв книжку — для *достоверности, что это написано,— я почти насильно уса*дила Муську в угол дивана и стала по книжке читать ей стихотворение. Она, дура (недаром ей было всего шесть лет!), сперва говорила:

— Я не хочу из этой книжки. Она без картинок!

— Да ты послушай только, послушай, это лучше, чем с картинками...— И я, торопясь, пока она не ушла, прочитала сдавленным от волнения голосом,— и первый раз читала эти стихи в с л у х, д р у г о м у:

Русалка плыла по реке голубой,
Озаряема полной луной;
И старалась она доплеснуть до луны
Серебристую пену волны...

Прочла, и тотчас же кто-то плеснул мне за ворот той самой серебристой, лунной, русалочьей водой! И она побежала по телу сверкающими, прохладными тонкими струйками, и я, почти захлебываясь в ней, дочитывала:

Но к страстным лобзаньям, не знаю зачем,
Остается он хладен и нем,
Он спит — и, склонившись на перси ко мне,
Он не дышит, не шепчет во сне...

— Ну? Ну, хорошо? —нетерпеливо спросила я Муську, закончив чтение.

— Ага,— ответила она басом и, помолчав, сурово спросила: — Лялька! А лобзанья и перси — это чего?

Я растерялась, но лишь на мгновение.

— Ну, дура... Ну, как ты не понимаешь? Это такие цветы, необыкновенные, подводные... чудеса морские... или такие, знаешь, большие золотые рыбки...

В тот день, идучи из-за Невской в город, я засмеялась и даже приостановилась от радости, вспомнив русалку и Муськин вопрос... То был Лермонтов детства. Потом был Лермонтов недолгого отрочества и внезапной, ранней юности, когда стихи его властно и просто сливались с жаждой подвига во имя Революции, питали бурное отрицание бога — Демон! — рождали первые мечты о будущей, обязательно необыкновенной и страшной любви — вновь Демон! — а решение стать настоящим, профессиональным революционером-поэтом уверенно опиралось на образ лермонтовского поэта-свободолюбца-кинжала-колокола. О, главное — колокола! Несмотря на первое упоение безбожием, строки о «божьем духе» ничуть не смущали — чудился не бог, а ветер, буря, стихия.

Твой стих, как божий дух, носился над толпой,
И, отзвук мыслей благородных,
Звучал, как колокол на башне вечевой
Во дни торжеств и бед народных.

И стыдно было даже думать об этом, но все-таки и эти стихи, как стихи о парусе, утесе и дубовом листке, тоже были про меня — но про меня такую, какой я должна была стать, вступая в Российский Ленинский Коммунистический Союз Молодежи...

Удивительно ли, что, не разлюбив Лермонтова, я, мы, наше поколение всем сердцем приняли Маяковского и го-

ворили — от себя — его стихами, в решающие минуты жизни?

И были еще пронзающий Есенин, и Блок — его вьюга, его «Двенадцать», и все величавее открывался Пушкин, а потом рядом с ними зазвучали в сердце наши комсомольские поэты, «успевшие родиться» и повоевать за революцию с оружием в руках, и прежде всего Михаил Светлов с его удивительной «Гренадой», где уж на самом деле все было про нас! Не про меня, а про нас, даже не успевших родиться, когда это надо было.

«Поэзия сопровождала нас с рассвета сознания до сегодняшнего дня,— думала я, шагая по булыжникам в город,— вот до этих дней штурма и обороны Ленинграда: и сейчас она идет рядом со мною». И я опять широко улыбнулась от радости: господи, да кто же отнимет у меня Лермонтова? Никто и никогда. Кто сможет уничтожить его, если даже уничтожит меня? Никто и ничто. Его уже нельзя уничтожить — он бессмертен. Лермонтов бессмертен и вечен, и наша русская поэзия вечна и бессмертна. Но Лермонтов и вся наша поэзия — давно уже неотъемлемая часть моей души, всей меня, значит, и я... Мне страшно — от счастья — было додумать об этом! Но если — я, значит, и ты, мой дорогой, мой единственный, с темно-золотыми, теплыми, большими глазами своими, ты тоже... бессмертен? Так вот почему я не подумала ни разу за время тревоги о возможной гибели твоей! Я ведь уже два часа как из города, два часа назад началась артиллерийская, потом воздушная тревога — раз воздушная, значит, во всем городе, и ты, конечно, стоишь сейчас на крыше, верней, на солярии нашей «слезы» — дежурный ты или нет, ты всегда подменяешь тех, кто боится бомбежек, а на крыше напротив, через улицу, сидят те же самые мальчишки, они, наверное, как всегда свистят и улюлюкают проносящимся «мессерам»... Нет, бомба не упала на наш дом, и ты и наши мальчишки живы,— как ты можешь погибнуть, когда гибели нет, когда мы бессмертны?! Я приду и скажу тебе об этом. Впрочем, ты знаешь все сам. Я не вспоминала тебя, переживая почти всю жизнь. Не пережила «наших» Островов, первого признания друг другу, и того раннего-раннего утра на безлюдной и старинной Тучковой набережной, где от опрокинутых лодок пахло смолой, и чайки носились над розовой водою, розовые от зари,— я не вспомнила этого до сих пор, но ведь это потому, что мне и не надо думать о тебе как-то особо, отдельно: все, что происходит со мною, в то же самое время происходит и с *тобою*... Вот я вспоминала о Лермонтове, не о твоем, трагическом, гибельном и бунтарском, каким живет он в намеченной работе твоей «Лермонтов и Маяковский»,— два чуда, две неповторимости, два поэта, столь разных и все же соприкасающихся через века... Как прямо говорил о своем родстве с Лермонтовым Маяковский, когда стоял, еле удерживая равновесие, на колокольне Ивана Великого, а разнузданная толпа мещан насмерть терзала его:

И так я калека в любовном болении.
Для ваших оставьте помоев ушат.
Я вам не мешаю.
                    К чему оскорбленья!
Я только стих,
            я только душа.
Я снизу:
      — Нет!
                    Ты враг наш столетний.
Один уж такой попался —
                              гусар!

Мой дорогой, я вспоминала о Лермонтове детском, с «подводными чудесами» — персями и лобзаниями, но он у нас один, потому что давно нет тебя и меня отдельно, есть одно — мы, потому что времени нет, и жизнь — одно мгновение, мы знаем это теперь, но оно вмещает все, и оно бесконечно.

Так рухнула грань между жизнью и смертью, между искусством и жизнью. Они слились в одно — в полную, торжествующую свободу.

День вершин, «Охраняйте революцию!»

Но странно, зловеще безмолвствовала Невская застава: не слышно было ни свиста бомб, ни воя снарядов, но не дали и отбоя — артиллерийская и воздушная тревога продолжалась. И даже круглые огромные облака не урчали

больше, они только медленно перемещались, переваливались друг через друга, клубились и пучились, и казалось, именно они источают эту еле звенящую обмершую тишину, вернее — безмолвие.

«Почему так тихо? Или прослушала отбой? Но тогда б на улице были люди... их нет почти... и трамваи стоят... Очень тихо! Ох, уж лучше б снаряды свистали, проклятые...»

Но было мертвенно-тихо, как будто бы все затаилось и готовилось к последнему, страшному прыжку, решающему исход смертного поединка.

Я шла одна между двумя рядами кирпичных грузных, приземистых, глухих — без окон — амбаров. Никаких домов, кроме них, здесь, на Шлиссельбургском, не было — только амбары. Кирпичный, чем-то враждебный мир... Я помнила, что в дни Октябрьской революции на всех фронтонах этих амбаров прописными изогнутыми буквами были начертаны революционные лозунги: «Не работающий да не ест!», «Кто не с нами, тот против нас!», «Ум не терпит неволи!», «Охраняйте революцию!» и много-много других — на каждом амбаре по лозунгу, вписанному полукругом во фронтон.

Революция кричала, как только что родившийся младенец. Нет, вернее, Революции надо было выговориться, выкричать все главное, что она хотела утвердить и сделать законом, все, чем хотела она обрадовать людей. Она без конца, в любое время суток, пела «Интернационал», она заставляла своими лозунгами и словами «Интернационала» вопиять даже камни.

Как повторилось это в дни Великой Отечественной войны! Она тоже заставляла вопиять камни о путях, и победах, и горестях своих. О, надписи на развалинах Севастополя, уже освобожденного, надписи на стенах Ленинграда, особенно страшные в дни блокады,— сестры пламенных надписей Революции!

Революционные лозунги были начертаны везде, на всех камнях, зданиях и оградах города, особенно много было их на окраинах: на воротах фабрик и заводов, на их корпусах, на обломках участков и — со всей грозностью и наивностью новорожденной Революции — даже на этих приземистых кирпичных купеческих амбарах. Я отлично помнила эти лозунги, они еще отчетливо виднелись в годы нэпа и первой пятилетки, я всегда читала их, когда езди-

ла из-за Невской в город, в университет, то есть всего одиннадцать лет назад. Но теперь они уже совсем исчезли — лишь еле видные мазки остались на кирпичных полукружиях. Я шла между рядами амбаров, по трамвайным путям — ведь все равно трамваи стояли,— глядя то в одну, то в другую сторону, жадно ища глазами старинные надписи, но их все не было, не было... И вдруг я обнаружила — на одном кирпичном фронтоне еле уловимой тенью проступают узкие изогнутые буквы. Я остановилась, вгляделась, разобрала: «Охраняйте революцию!» И рыдание сжало мне горло — счастливое рыдание!

...Я слишком часто повторяю слово «счастье» на этих листах, но в тот день ничто из бесчисленных горестей моих не вспомнилось мне, ни на миг не овладело душою — ни смерть дочерей, ни несправедливое обвинение в 1937—1939 годах, видение которых до войны было неодолимо... Ничего этого не вспоминалось мне, ничто не обижало, не мучило. Нет, я шла по одним вершинам, мною владело только наше высокое и прекрасное, только счастье и упоение жизнью. И я знала, знала, что так не только со мной, так с Николаем, так с папой, с Дуней, с подругой Галиной, с электросиловцами, с новыми друзьями по Радиокомитету. Скоро Старо-Невский. Амбары скоро кончатся. Как жаль, что не сохранились все надписи, лишь еле видная тень одной... Но ведь я-то помню их все! Их же при мне наносили на эти кирпичные здания, когда я уже твердила стихи Лермонтова, уже слыхала, что Ленин приехал в Петроград и фабричные и заводские нашей заставы встали за ним и пошли встречать его к Финляндскому вокзалу... Господи, погоди,— да ведь они шли к Финляндскому вокзалу этим же самым путем, мимо этих же сумрачных амбаров! Надписей, наверно, на амбарах еще не было. Но на встречу с Лениным шли здесь, где иду сейчас я!

И этой же дорогой шли к Ленину в февральский вьюжный день восемнадцатого года рабочие нашего Обуховского завода. Они решили построить на Алтае первую в мире рабочую коммуну, прекрасную, справедливую, настоящую коммуну, о которой до них только мечтали и писали в книжках — целые века, целые тысячелетия. Они назвали ее «Первороссийском», что означало «Первое Российское общество землеробов-коммунаров». Они шли к Ильичу за советом, как лучше строить свою коммуну,

и главное, с просьбой, чтоб он помог им уехать па Алтай. Да, да, они шли между этими же амбарами, все было так же, как сейчас, только надписи на фронтонах были тогда ярко-белые, недавно нанесенные на красные кирпичи. «Ум не терпит неволи»,— утверждали они. «Мы не рабы!» — восклицали они. «Охраняйте революцию!» — приказывали они. И вот — эта девушка в военном и в пилотке, и какой-то дяденька, и я — мы идем той же дорогой, их дорогой, и те же надписи горят на тех же стенах, ну и что ж, что они стерты временем, мы-то помним о них, да и не только помним — мы на самом деле охраняем Революцию. Мы идем их дорогой, шаг в шаг, мы их современники, и они наши современники, потому что мы живем в едином времени — во времени Революции, нас не разомкнуть, не разъединить, мы единая цепь, звено в звено...

Цепь, цепь... *Погоди, откуда это слово? Почему оно* вдруг оцарапало сознание? Цепь, цепь! Ах, да! «Фландрская цепь счастья»... Листовка, которую обнаружили сегодня жильцы моего дома и я сама... Ну что ж, она и вправду существует, только не их, а наша цепь. Она обходит мир, она обойдет его не трижды, а тридцать три раза трижды, не символом рабства, скованности, неволи, но символом нерушимого единства, вечной преемственности, неразрывности наших жизней и деяний,— звено в звено, шаг в шаг, век в век, жизнь в жизнь, поколение в поколение, народ за народом, революция за революцией. Нашу цепь не порвать, потому что это цепь жизни, я — звено ее, и вся она,— с неведомых ее истоков уходящая в бесконечность,— моя!

И как будто бы в ответ на эту думу чистым, высоким голосом сразу в несколько уличных рупоров запели фанфары: то был сигнал отбоя!

И тотчас на Старо-Невский высыпали люди, трамваи звякнули, задребезжали, залились звонками и скрежетом, побежали, громко сигналя, автобусы, все ожило, заговорило, зазвенело, казалось, даже пронзительно золотые лучи осеннего солнца заверещали над Старо-Невским, даже стекла в домах, голубевшие небом, даже асфальт под ногами — все было полно исступленно-веселого звона и гудения, а надо всем несся серебряный, чуть грустный голос фанфар: они возвещали конец бомбежки, ужаса, смерти, они возвещали возвращение к обычной суете

и жизни,— что может быть лучше?! Это был обыкновеннейший ежедневный городской шум,— какая же это, оказывается, радость, что же мы раньше так злились на него?

«Мы потребуем, чтоб сигнал отбоя играли целый час, когда объявят победу»,— подумала я, на ходу вскакивая в трамвай, и мне показалось, что победа совсем недалеко. Как я любила скрежещущий, звенящий трамвай, сердитую кондукторшу, граждан, толкавшихся, но счастливо оживленных,— какое это все было милое, дорогое и, главное, мое! Но раз я заканчиваю рассказ о «дне вершин» словом «мое», дне, так похожем на ощущение сопричастности с миром в Угличе, я должна выполнить обещание, данное еще в первом отрывке, в главке «Это мое!»,— рассказать о валдайской дуге.

Валдайская дуга

Я услыхала ее в Угличе, где жили мы с мамой, пока отец воевал с беляками на юге. Она хранилась в музее, в бывшем тереме Димитрия-царевича, а темно-красный кирпичный терем стоял на крутом, отвесном берегу Волги и был окружен небольшим, но очень густым садиком с древними задумчивыми деревьями, с огромными темными кустами сирени, такими огромными, что внутри них были настоящие небольшие пещерки. И под плакучими ветвями древних берез, между клубящимися кустами сирени вились ярко-желтые песчаные дорожки, а за теремом стояли настоящие солнечные часы столбиком, которые были еще при царевиче Димитрии. Он глядел на них и, наверное, уже понимал, сколько времени они показывают,— ведь ему было уже тогда целых семь лет. Он еще глядел из этого садика, с обрыва, на тот берег Волги, а там стоял удивительный сосновый бор: очень прямой и густой, ствол к стволу навытяжку, темно-синий, неподвижный, он стоял вдоль берега тремя ровными, большими нисходящими ступенями, вернее уступами,— казалось, что это три полка огромных красноармейцев в своих острых буденовках-шлемах плечом к плечу стоят напротив

нашего Углича и охраняют его. Особенно были похожи на красноармейцев уступы бора ранними зимними вечерами, когда как раз за бором в сиреневой морозной дымке садилось очень красное солнце и верхушки-буденовки сосен просвечивали и сочились красным.

Но в теремном садике зимой было гулять нельзя — большие, тоже какие-то древние, очень уютные, но совершенно непроходимые сугробы заваливали его. Поэтому мы любили бегать в теремном садике летом, в жаркие дни, когда такой отрадной прохладой веяло с Волги, и из пещерной глубины сиреневых кустов тоже тянуло душистой лесной сыростью. Здесь было очень хорошо, и было почему-то приятно знать, что ходишь по тем же дорожкам, по которым ходил царевич Димитрий — такой, как на иконе: в длинной белой рубашке, с розовыми ладонями, которые он, как крылышки, держал открытыми над плечами, и аккуратное золотое кольчико сияния неотступно кружилось над его головой.

Мы уже знали, как убили царевича: вот он в такой же жаркий весенний день гулял по этим самым дорожкам, подняв ладони, с крутящимся сиянием над головой, а из дремучих, буйно цветущих кустов сирени выскочил Данила Битяговский с длинным, блестящим, острым ножом и зарезал царевича — ножом по горлу.

И мы нарочно обходили кусты сирени — чудилось: вдруг выскочит оттуда Битяговский да как кинется на нас!.. Правда, мы ему ничего такого не сделали, ну а что ему сделал царевич?! Зачем было убивать его — ведь хоть он и был царевич, что, конечно, не так-то уж хорошо, как мы узнали после свержения нашего петроградского царя, но ведь он же был еще маленький, он еще не понимал, что нехорошо быть царевичем, он даже бусы носил, как девчонка,— Битяговский-то и обманул его бусами, чтобы царевич поближе подошел к нему и закинул голову.

В музей же, в палаты, где когда-то жил царевич, мы попали не скоро, чуть ли не через год, как приехали,— мама все никак не могла собраться: то устраивалась в школу, то мы все время кочевали с квартиры на квартиру, то надо было сажать картошку и ходить на субботники за шишками для электростанции и ландышами для аптеки. Но наконец мы все-таки собрались и, умытые, даже с бантиками в косицах, отправились в музей с мамой и еще двумя знакомыми по Петрограду. Сухощавый

и благообразно седой заведующий музеем встретил нас очень учтиво и сначала водил вокруг музея и объяснял, что и как тут было, потом повел в подвал, показал очень интересный фонарь, похожий на целую часовенку, и большую деревянную некрасивую телегу, напоминавшую гроб на огромных колесах. Это и взаправду оказалась повозка, на которой везли гроб с телом Кутузова в Россию. Почему она попала в угличский музей — заведующий объяснял, но я пропустила это мимо ушей, потому что устремилась глазами к другому предмету, стоявшему за гробом-повозкой. И наша мама, правда, очень вежливо дослушав про тело Кутузова, тоже спросила о том же предмете — что это такое, неужели дуга? Она спросила это, наверное, потому, что и она, и тетки наши, собираясь по вечерам за Невской, любили петь песни про ямщиков, которые мчались по Волге-матушке зимой и под звон бубенцов и колокольчиков горевали о покинутых или замерзших невестах или сами замерзали в степи, шепча имя любимой жены, моля о ее счастье. Песен о тройках и ямщиках за Невской пели много. Они были то пронзительно грустные, то отчаянно веселые, я знала их почти все и больше всего любила песню о том, как в степи глухой замерзал ямщик...

А жене скажи,
что в степи замерз
и свою любовь
на тот свет унес...
А еще скажи —
пусть не печалится.
Пусть с другим она
перевенчается...

— А-а... Это старинная валдайская дуга,— сказал хранитель музея, и сухое седое лицо его потеплело.

Мы подошли поближе. Огромная, плавная, пологая, она слабо светилась, мерцала в полумраке пожухшей, но тем более достоверно сказочной красотой своей — синими, пунцовыми и зелеными розами на бледно-матовом золоте, и была похожа на небольшую, но самую настоящую деревянную радугу. А в центре радуги-дуги висел большой потускневший колокольчик, справа и слева от него располагались колокольчики поменьше и круглые, узорчатые бубенцы: да, это была та самая дуга — из песни!

И колокольчик, дар Валдая,
Звенит и плачет под дугой...

И хранитель музея, чуть улыбаясь, протянул к ней руку, раза два или три мягко качнул ее из стороны в сторону, тряхнул. Ох, как она залилась, зазвенела, зарыдала, захохотала, как живая, и все это было сразу: и острая, пронзающая грусть, и взвившееся веселье, этот сумасшедший звон серебряный, ударивший в каменные своды и рухнувший с них, как сверкающий ливень, наполнив собой все — подвал, сердце, жизнь!

Я уж больше и не слушала и не слыхала ничего из того, что говорил хранитель, я только угрожающе прошептала Муське: «Это мое!» — и все смотрела на валдайскую дугу... А когда хранитель сказал, что теперь можно пройти в палаты, наверх, сердце у меня сжалось, и я сказала с отчаянием:

— Дяденька... тряхните *ее* еще разочек... пожалуйста!

Он улыбнулся и тряхнул мою — мою дугу-песню, дугу-сказку. Краткую, огнистую россыпь ее помню и до сих пор...

> Ты хоть раз, хоть раз еще раздайся,—
> в жизни, в песне, в плаче, наконец,—
> о любовь моя, дуга валдайская,
> сердце, омертвевший бубенец...

...Но когда я была в Угличе в 1953 году и пришла в музей, в терем царевича Димитрия, там в подвалах уже не было ни кутузовской колесницы, ни моей валдайской дуги. И только знаменитый угличский корноухий колокол был в тереме на том же самом месте, и вот именно кратким рассказом об этом колоколе и закончу я свой «день вершин».

Корноухий колокол

Он назывался так потому, что был опозорен и лишен одного уха за преступление свое против царской власти: в тот миг, когда убили царевича Димитрия, люди ударили в этот самый колокол, и он загудел набатным звоном. И по зову его сбежались угличане и увидели ребенка, лежащего на песчаной дорожке в крови, с перерезанным

горлом... Не моя задача, как вы понимаете сами, исследовать, зарезался ли царевич сам в припадке эпилепсии, спровоцировали ли народ Нагне,— важно было для него, народа, по-моему, то, что во имя каких-то непонятных ему дворцовых интриг «обидели дитё», да не просто обидели, а убили. Но ведь это извечная боль, это непреложный закон для русского человека, сформулированный впоследствии Федором Достоевским: «Нельзя, чтобы плакало дитё!» А тут — обидели, убили маленького, беззащитного. И вот угличане, прибежав по зову колокола, совершили самосуд над убийцами ребенка. Они растерзали убийц.

В тот день, с убийства ни в чем не виновного ребенка, с набата, возвестившего об этом, началось Смутное время.

«О граде ты, граде, богоспасаемый граде Угличе! Горькую чашу испил ты за русскую землю...» — сказано в летописи.

В этой чаше едва ли не наибольшую долю горечи составляет история, начавшаяся в Угличе после самосуда над Битяговским. Борис Годунов жестоко расправился с угличанами. Двести человек были казнены как изменники и убийцы. Множеству других за смелые речи отрезали языки, шестьдесят семейств были осуждены на ссылку в Сибирь, в Пелымь.

Не остался безнаказанным и колокол, возвестивший о пролитой крови ребенка и начале великой народной трагедии: колокол был сброшен с колокольни, лишен крестного знамения, ему отрубили одно ухо, вырвали язык, и на площади публично, при народе, было нанесено ему сто двадцать ударов плетьми. Затем корноухий колокол (так отныне стали звать его) был приговорен к ссылке, туда же, куда отправлялись шестьдесят углицких семейств, в Сибирь. Ссыльные угличане должны были тянуть его на себе до места ссылки.

И они шли в Сибирь и тянули на себе колокол на особом станке, вроде салазок.

Они шли целый год — летом и зимой, весной и осенью; они, меняясь в упряжке, тянули очень тяжелый колокол по болотам, по трактам и бездорожью, по лесам и горам. Не раз падал со станка корноухий колокол — края его зазубрились, и весь он потемнел, но трещины не дал. Многие угличане не дошли до Пелыми, умерли в дороге, некоторые — в упряжке под колоколом. Но никто из них на корноухого не роптал: они тянули за собой своего

глашатая, они тащили с собой своего певца и поэта. Да, та́к было, хотя, конечно, никто из угличан не осознавал этого, и еще целых двести пятьдесят лет должно было пройти, чтобы Лермонтов сказал о поэте:

Звучал, как колокол на башне вечевой
Во дни торжеств и бед народных.

...Наконец с первой партией ссыльных мятежный колокол прибыл в Тобольск. Тогдашний тобольский воевода, князь Лобанов-Ростовский, велел сдать его в приказную избу, где он и был записан так: «Первоссыльный неодушевленный с Углича».

И целых триста лет пробыл корноухий колокол в ссылке. Не раз русские образованные люди, любящие родную историю, просили правительство возвратить колокол на родину — в Углич. Цари — один за другим — упорно отказывали в этом, свыше столетия отказывали. И только в 1892 году, когда юридически удалось доказать, что «первоссыльный неодушевленный» полностью отбыл срок наказания, было разрешено возвратить колокол в Углич.

...Колокол возвращался торжественно, по Волге он плыл на особом, лишь для него предназначенном пароходе, еще в дороге были возвращены ему ухо и язык, и встречали его торжественно — главное духовенство, народ, интеллигенция. А в Угличе, куда колокол прибыл поздно вечером, невдалеке от терема было сооружено для него нечто вроде невысокой звонницы, куда его и подвесили на ночь, и всю ночь стоял вокруг колокола-бунтаря почетный гвардейский караул. Утром же при огромном стечении народа был торжественный молебен, а затем вместо крестного хода все угличане прошли под колоколом, и каждый из них дергал веревку, привязанную к его языку, и язык колокола бил без перерыва в его щербатые края, и колокол гудел и пел, как тогда, триста один год назад, только много часов подряд...

Однако на колокольню корноухий поднят не был: даже духовенство понимало, что возвращена и торжественно принята не религиозная реликвия, а бунтарская, народная. Духовенство и правительство вынуждены были вернуть колокол на родину и почетно встретить его, но к богослужениям этот колокол призывать народ не мог, ему не доверяли этого! Поэтому колокол повесили в музее-

палате Димитрия, но тоже таким образом, что можно было пройти под ним. И вот я помню, как тогда, когда мы жили с мамой в Угличе и я еще верила в бога, мы каждый год пятнадцатого мая — в день царевича Димитрия — шли к обедне в церковь Димитрия на крови, а потом, как и все угличане, проходили через музей, под колоколом, и ударяли в него, и над самой головой раздавался его густой, стонущий, угрожающий, какой-то темный звук, идущий откуда-то издалека, из бездонного прошлого, и в то же время как будто из твоей груди. И если валдайская дуга отзывалась и звенела в сердце снежно искрящейся неистовой печалью и радостью, то гул колокола исходил из души как некий сумрачный восторг, почти гибельный, но желанный.

...Приехав в город детства, я не застала там уже валдайской дуги и не услышала ее серебряного рыдания... И садик вокруг музея был вроде ощипан, да и в самом музее много чего не было. Молодой и, как говорится, «не шибко образованный» заведующий музеем, с круглым равнодушным лицом, равнодушно водил меня по музею, почти ничего не в силах объяснить, и у меня было только одно желание: чтобы он молчал, чтобы не мешал он мне прислушиваться к нахлынувшим звукам, запахам, воспоминаниям милого и сурового нашего детства. И когда мы вошли в палату Димитрия и я увидела колокол на том же самом месте, я и его гуденье услышала в себе... Но мне захотелось проверить себя: так ли я слышу его после стольких лет такой моей жизни, после Великой Отечественной войны, после ленинградской блокады? Я знала, что обычай проходить под колоколом давно не существует и, вероятно, просто забыт... И вдруг неодолимое, странное желание охватило меня. Мы были одни в палате с заведующим музеем.

— Можно, я ударю в этот колокол? — спросила я его.

Он взглянул на меня, как на помешавшуюся,— он ведь не знал старинного обычая, да навряд ли знал и историю колокола.

— Пожалуйста,— испуганно сказал он.

И я стала под колокол и с силой дернула за веревку. И он запел и загудел над моей головой, как тогда, но звук этот для меня все-таки был полон теперь новой силы и нового значения: это был голос, предупреждающий всех, кто вновь вздумал бы обидеть дитё войной, голодом,

сиротством, что возмездие на страже, что колокол-поэт первым призовет к нему.

Прикоснувшись к щербатым, густо и грозно поющим краям колокола, я сказала про себя не так, как в детстве, но властно и продуманно: «Это мое!»

Так шла я из-за Невской заставы в начале сухого, золотого октября сорок первого года, безмерно бесстрашная и радостная, опьяненная сознанием своего бессмертия и бессмертия всего, что меня окружает и окружало раньше, и даже того, что было еще до моей памяти. Но ни я, никто, никто из нас не знал, что по тем же самым исступленным, вершинным, озаренным дорогам мы, ленинградцы, будем ходить по-другому, и очень скоро...

Путь к отцу

И вот всего через четыре месяца я пошла той же дорогой, но только обратной: я шла из города за Невскую заставу. Я шла к отцу в первых числах февраля тысяча девятьсот сорок второго года.

Шла к отцу и слез не отирала:
трудно было руку приподнять.
Ледяная корка застывала
на лице отекшем у меня.
Тяжело идти среди сугробов:
спотыкаешься, едва бредешь.
Встретишь гроб — не разминуться с гробом.
Стиснешь зубы и — перешагнешь.
Друг мой, друг, и я, как ты, встречала
сотни их, ползущих по снегам.
Я, как ты, через гробы шагала...
Память вечная таким шагам.
Память вечная, немая слава,
легкий, легкий озаренный путь...
Тот, кто мог тогда перешагнуть
через гроб,— на жизнь имеет право...

Эти стихи из тех, что пишутся, вернее записываются, в дневниках, на полях Главной книги. Но и записываю их редко, не знаю почему. Они записываются где-то не на бумаге, сказать — в сердце? Высокопарно... Скажем: они запоминаются. Их время от времени бормочешь про

себя, только для себя. Иногда для самых близких людей — внезапно.

Большинство таких — дневниковых — стихов у меня не записано. И это стихотворение, как многие такие, забывалось, потом вспоминалось неожиданно и отчетливо. Что-то прибавлялось в него, что-то непроизвольно отбрасывалось — вот наконец записалось. Как и каждом из таких стихов, здесь все верно, кроме одной строчки: я не плакала в тот день, когда шла к отцу. Я плакала за всю блокаду один раз, когда шла из госпиталя, где умирал Николай...

Отправляясь за Невскую, я снарядилась обстоятельно. Товарищи по Радиокомитету, где я давно уже жила на казарменном положении, снабдили меня каждый чем мог. Мне налили в появившуюся откуда-то бутылочку с делениями (в таких бутылочках дают в консультациях детям-искусственникам молоко) жидкого, чуть сладкого чаю, кто-то подарил две папироски, и взяла свой хлебный паек. Это было в то время уже целых двести пятьдесят граммов хлеба. Я решила есть понемножку и ни за что не съедать весь хлеб сразу, хотя думала только о том, что в противогазе моем лежит хлеб — целых двести пятьдесят граммов с довесочками... Да, на боку у меня висел противогаз, тот самый противогаз, который еще в октябре казался нашей Авдотье главным спасением от всех ужасов войны. «Ты, Лялецка, цуть цто — лезь в противогаз»,— убеждала она меня... В те же дни казались еще спасением бумажные кресты на стеклах. Как старательно летом 1941 года — неужели это было всего семь месяцев назад? — наклеивали мы эти кресты на окна! Некоторые чудаки перестарались: простое закрещивание окон их не устраивало, и они вырезали из бумаги сложные узоры и целые картины. До сих пор на Фонтанке окно одной из квартир было изукрашено тропическими пальмами, а под пальмами восседали условные бумажные обезьяны. Быть может, обитатели этой квартиры хотели как-то отыграться, отшутиться от войны, думали, что это поможет?

Ничто не помогло! Ничто не помешало смерти войти в наши дома: ни бумажные кресты, ни затейливые узоры и картинки на стеклах, ни противогазы, тщательно проверенные, которые по сигналу воздушной тревоги мы немедленно открывали и приводили в положение «на товсь». Нам ни разу не пришлось надеть их, смерть не дохнула

нам в лица удушающими газами, она просто вошла в каждого из нас как предельная слабость плоти, как грызущий голод, как постоянный ледяной озноб...

Вместо противогазов люди носили на лицах шерстяные маски и полумаски всех цветов, у кого какая — или вязаная гарусная, или суконная тряпка нашлась. Красные, черные, зеленые, синие маски с узкими щелочками для глаз шли мне навстречу.

А резиновая маска из сумки противогаза давно уже была выброшена. В сумке помещался чаще всего «малый дистрофический набор»: одна-две полулитровые баночки, ложка, пища, если она была у человека.

Когда я вышла в дорогу, в противогазе моем была пустая баночка, бутылка с чаем и хлеб, хлеб — двести пятьдесят граммов хлеба!

Я знала, что идти нужно будет долго. Надо дойти до завода Ленина, потом долго по Шлиссельбургскому. Надо будет даже перейти Неву, подняться на крутой правый берег. От Радиокомитета это примерно километром пятнадцать — семнадцать. Я очень истово собиралась в дорогу и вообще исполнена была какой-то странной истовости, удивительного спокойствия. Да нет, пожалуй, даже не спокойствия, а этакого мертвого безразличия, нет, вернее даже — неизведанной тихости, странной кротости. Я не была уверена, что дойду до отца, и решила не загадывать так далеко. Я решила: во время дороги буду ставить себе микрозадачи: вот сейчас я у этого фонарного столба. Надо дойти до следующего. Потом опять до следующего. Потом до Московского вокзала. А там видно будет! Надо переставлять ноги, не торопясь, никуда не спеша, стараясь идти по тропинке и не оступаясь в снег.

И вот я пошла. Сначала по Невскому, от одного фонарного столба до другого. От одного до другого...

Антон Иванович сердится»

У нас в Ленинграде перед самой войной должна была пойти музыкальная кинокомедия под таким названием, и потому почти к каждому фонарному столбу прикреплена была довольно крупная фанерная доска, на которой большими цветастыми буквами было написано: «Антон Иванович сердится». Больше ничего не было написано. Кинокомедию мы посмотреть не успели, не успели снять в первые дни войны и эти афиши. Так они и остались — под потухшими фонарями — до конца блокады.

И тот, кто шел по Невскому, сколько бы раз ни поднимал глаза, всегда видел эти афиши, которые, по мере того как развертывалась война, штурм, блокада и бедствия города, превращались в некое предупреждение, напоминание, громкий упрек: «А ведь Антон Иванович сердится!» И в представлении нашем невольно возник какой-то реальный, живой человек, очень добрый, не все понимающий, ужасно желающий людям счастья и по-доброму, с болью, сердившийся на людей за все те ненужные, нелепые и страшные страдания, которым они себя зачем-то подвергали.

Под фонарные столбы после обстрелов подтаскивали изуродованные трупы горожан. Дистрофики обнимали фонарные столбы, пытаясь устоять на ногах, и медленно опускались к их подножию, чтобы больше не встать... Антон Иванович сердился. Ах, как он сердился, печально сердился на все это! И так совестно иногда становилось перед Антон Ивановичем — человеком. Хотелось сказать за себя и за всех людей земли: «Антон Иванович, дорогой, добрый Антон Иванович, не сердитесь на нас! Мы не очень виноваты. Мы все-таки хорошие. Мы как-нибудь придем в себя. Мы исправим это безобразие. Мы будем жить по-человечески».

Но в тот день я не обратилась к Антону Ивановичу с этой безмолвной тирадой или мольбой. Мне и он был душевно не под силу. Даже перед ним я не могла оправдываться. Да и вообще мне было не до него, и ни о чем не могла я думать, сосредоточившись, на том, чтобы аккуратно переставлять ноги, двигаясь от столба к столбу.

А Антон Иванович сердился и становился все грустнее, все грустнее...

Вот дошла до Московского вокзала. Поглядела на часы: стоят.

Вступила на Старо-Невский. Там снова от столба к столбу. А слева от Московского — до самой Александро-Невской лавры — цепь обледеневших, засыпанных сне-

гом, тоже мертвых — как люди мертвых — троллейбусов. Друг за другом, вереницей, несколько десятков. Стоят. И у Лавры на путях цепь трамваев с выбитыми стеклами, с сугробами на скамейках. Тоже стоят. Наверно, всегда теперь так будут стоять. Невозможно представить, чтобы все это когда-нибудь двинулось, зазвенело, зашелестело по асфальту. Неужели мы в этом когда-то ездили? Странно! Я шла мимо умерших трамваев и троллейбусов в каком-то другом столетии, в другой жизни. Жила ли я на сто лет раньше сегодняшнего дня или на сто лет позже — я не знала. Мне было все равно.

Тропинка вилась посередине улицы. Но здесь она была еще довольно широкой. Я услышала позади себя скрип полозьев. Остановилась и оглянулась: женщина везла на саночках мужчину. Он был привязан к санкам полотенцем, но сидел и был явно еще живой. Я вяло подумала: куда же она его везет? Потому что уже начинались амбары, среди которых лежал когда-то, целых четыре месяца назад, последний, самый ликующий, самый высокогорный отрезок моего пути в «день вершин». Я не вспомнила о нем ни на мгновение. Зато, взглянув на амбары, я подумала: «Это зернохранилища. Хранилища зерна. Да, ведь когда-то во всех этих амбарах было зерно — рожь, и даже между амбарами, под навесами, тоже лежали груды ржаного зерна. Я помню это. Когда я ездила за Невскую, я видела груды ржаного зерна».

При мысли о ржаных зернах рот мой наполнился холодной слюной. Я вспомнила, как растирали мы в руках спелые ржаные колосья летом, когда жили в Заручевье, там, где я узнала о дневных звездах. На мгновение мне точно пахнуло в лицо запахом ржаного поля... Если б вдруг хоть один колосок растереть, всыпать в рот и долго перемалывать зерна зубами,— ох, как мы на своих супах истомились по «твердой еде»!

«Сейчас выну хлеб и съем его весь»,— подумала я, и в глазах у меня потемнело. Я остановилась, рывком растегнула противогаз... и вдруг мне удалось подавить внезапно вспыхнувшее, единственное за всю дорогу живое чувство. Я сказала все тихо, но вслух:

— Нет. У завода Ленина. Сяду. Отопью глоточек чайку. Съем хлебца.

И снова, на миг нарушенная, воцарилась во мне нехорошая покорная тихость. Я стала двигаться дальше

и до сих пор помню, что всю дорогу была удивительно кроткой, спокойной и как-то очень готовой умереть. Даже не умереть, а раствориться в этом снеге, в этих огромных сугробах, в заиндевевших багрово-кирпичных амбарах, в низком грифельном небе.

Эта кротость, как мы уяснили потом, была действительно началом смерти. Как раз в этом состоянии человек начинал все говорить с употреблением суффикса «чка» и «ца»: «кусочек хлебца», «корочка», «водичка» — и становился безгранично вежливым и тихим.

Правда, были такие, что зверели, но о них как-нибудь потом...

Перекур

Уже за Невской тропинку мою пересекала поперечная. И так случилось, что в ту минуту, когда я подошла к этому малому перекрестку, столкнулась я с женщиной, замотанной во множество платков, тащившей на санках гроб, собственно говоря, даже не гроб, а что-то вроде комодного ящика. Может быть, это даже и был комодный ящик, заколоченный сверху фанеркой. Она тащила его, всем корпусом наклонясь вперед, почти падая. Я остановилась, чтобы пропустить гроб, а она остановилась, чтобы пропустить меня, выпрямилась и глубоко вздохнула. Я шагнула, и она в это время рванула саночки. Я опять стала. А ей уже не сдвинуть с места санки: наверное, они наскочили на какую-нибудь выбоинку или бугор на тропинке, и стоят они прямо около моих ног. Она ненавидяще посмотрела на меня из своих платков и еле слышно крикнула:

— Да ну, шагай!

И я перешагнула через гроб, а так как шаг пришлось сделать очень широкий, то почти упала назад и невольно села на ящик. Она вздохнула и села рядом.

— Из города? — спросила она.

— Да.

— Давно?

— Давно. Часа три, пожалуй.

— *Ну что там, мрут?*

— Да.
— Бомбит?
— Сейчас нет. Обстреливает.
— И у нас тоже. Мрут и обстреливает.

Я все-таки раскрыла противогаз и вытащила оттуда драгоценность: «гвоздик» — тонюсенькую папироску. Я уже говорила, что у меня их было две: одну я несла папе, а другую решила выкурить по дороге, у завода имени Ленина. Но вот не утерпела и закурила.

Женщина с неистовой жадностью взглянула на меня. В глубоких провалах на ее лице, где находились глаза, вроде что-то сверкнуло.

— Оставишь? — не сказала, а как-то просвистела она и глотнула воздух.

Я кивнула головой. Она не сводила глаз с «гвоздика», пока я курила, и сама протянула руку, увидев, что «гвоздик» выкурен до половины. Ей хватило на две затяжки.

Потом мы встали, обе взялись за веревку ее санок и перетащили гроб через бугорок, на котором он остановился. Она молча кивнула мне. Я — ей. И опять, от столба к столбу, пошла к отцу. Встреча с женщиной, тащившей комодный ящик-гроб, и перекур с нею ничего не шевельнули во мне тогда. Я только подумала: «Теперь не присяду до завода Ленина. А у завода съем кусочек хлебца».

Ступеньки во льду

...Я мерно, бездумно шла вперед и по дороге встречала еще и еще гробы, и мертвецов, которых везли на санках зашитыми в простыни или пикейные одеяла, и мертвецов, лежавших в снегу ногами к тропинке. Почти все они были разуты — ну что ж, правильно, обувь их нужна была тем, кто еще жил и шагал по тропинкам мертвого, цепенеющего и несдающегося города.

У завода Ленина, откуда когда-то очень-очень давно — в детстве и юности — начинался «город», потому что до завода ходила конка, а от завода трамвай,— у завода Ленина, бывшего Семянниковского, я присела на бетонную скамеечку, огибавшую бетонную диспетчерскую будку (выстроенную, конечно, в стиле Корбюзье), аккуратно съела «кусочек хлебца» и пошла дальше по Шлиссельбургскому. Наша школа не вызвала никаких воспоминаний. Я не посмотрела и вправо — на Палевский, где пять месяцев назад под воем и громом снарядов неспешно, торжественно умирала моя бабка, благословляя все четыре стороны света и моля о спасении Москвы, не взглянула на перекресток, где среди библейских серебряных облаков мы стояли с отцом и спеша говорили о Николае, о его работе «Лермонтов и Маяковский», о поэзии, о будущем...

И ведь это я *теперь* пишу, *теперь* вспоминаю этот ледовый путь, а тогда я вовсе и не отметила, что вот — не взглянула в сторону отчего дома, не подумала о его последних обитателях... Повторяю, у меня тогда почти не было чувств, не было человеческих реакций. Вернее, были одни суженные, первичные реакции.

Я только замерла, когда дошла до Невы, до перехода к папиной фабрике, потому что уже смеркалось и первые, нежнейшие, чуть сиреневые сумерки спускались на землю. Сиренево-розовой, дымчатой была засугробленная Нева и казалась необозримой, свирепой снежной пустыней. Отсюда до отца было дальше всего, хотя я видела через Неву фабрику и знала, что влево от главных корпусов стоит старенькая бревенчатая амбулатория.

В противогазе у меня остался совсем маленький кусочек хлеба, граммов сто, и я подумала, что, наверное, у отца найдется же кружка кипятка и мы поделим этот кусочек и съедим его. Как только я приду — сразу и съедим. Эта мысль придала мне силы, и я пошла через Неву.

«Теперь скоро, теперь скоро, но, боже мой, как далеко!»

Очень узенькая тропинка через Неву была твердой, утоптанной, но какими-то неверными, чересчур легкими шагами: она была ребристой, спотыкающейся. Правый берег высился неприступной ледяной горой, теряясь вверху в сизо-розовых сумерках. У подножия горы закутанные в платки, не похожие на людей женщины брали воду из проруби.

«Мне не взобраться на гору»,— вяло подумала я, чувствуя, что весь мой страшный путь был напрасен.

Я все же подошла к горе вплотную и вдруг увидела, что вверх идут еле высеченные во льду ступеньки.

Женщина, немыслимо похожая на ту, что тащила гроб, в таких же платках, с таким же коричневым пергаментным лицом подошла ко мне. В правой руке она держала бидон с водой литра на два, не больше, но и то клонилась направо.

— Поползем, подруга? — спросила она.

— Поползем...

И мы на четвереньках, рядышком, тесно прижавшись друг к другу, поддерживая друг друга плечами, поползли вверх, цепляясь руками за верхние вырубки во льду, с трудом подтягивая ноги, со ступеньки на ступеньку, останавливаясь через каждые два-три шага.

— Доктор ступеньки вырубил,— задыхаясь, сказала на четвертой остановке женщина.— Дай ему бог... все легче... за водичкой ходить...

Но я не подумала, что это она говорит о моем папе. Ей было труднее, чем мне, потому что я цеплялась за верхние ступени двумя руками, а она одной, другой рукой она переставляла со ступеньки на ступеньку бидон с водой. Вторую половину пути мы переставляли бидон по очереди, то я, то она, и так доползли до верха и дошли до ворот фабрики.

Фабричный двор, и бревенчатая амбулатория, и палисадник около нее из резных балясинок, где уже много лет каждый год хлопотал над розами папа,— я совершенно ничего, решительно ничего не узнала и долго стояла перед крылечком амбулатории, туго соображая: куда же это я пришла? Может, я зашла на соседнюю фабрику Варгунина или вообще... совсем не туда? Что это за странная деревянная избушка, полуразобранный заборчик из балясинок? Я никогда в жизни их не видала... А я тут бывала с детства и почти в такой же, только ярко-розовый день, исступленно морозный, искрящийся, пришла сюда много лет назад, чтобы взглянуть на первое свое напечатанное стихотворение в стенной газете папиной фабрики, посвященное смерти Ленина.

Я не вспомнила об этом тогда.

Приглядевшись, я все же убедилась, что это папина больница, и равнодушно отметила, что вот и все неживое — то есть здания, заборчик, сугробы — тоже может умирать. Да, все это было мертвое, вернее, как бы перенесенное на «тот свет», где все, конечно, иное: то же

самое, но без души. В безмолвии и безлюдии заиндевевшего леса, даже в снежной пустой степи есть жизнь и есть душа, а тут ее не было. Все было и, казалось, ничто не жило.

Секрет земли

В маленькой передней амбулатории, еле-еле освещаемой из соседней комнаты, на деревянной скамейке с высокой спинкой, на скамейке, похожей на вокзальную, лежала женщина. Она была в ватнике, старательно укутана платком и лежала на боку, подложив сложенные ладони под правую щеку. Так спят на вокзалах транзитники в ожидании поезда дальнего следования. Но она не спала. Она была мертвая. Я увидела это сразу, как вошла.

«Наверно, их у папы много»,— подумала я, шагнула в соседнюю комнату, и там, за деревянной загородочкой из пузатых столбиков, за столом сидел мой папа.

Низенькая толстая свеча башенкой («ишь, какие у него свечи!..») снизу освещала его лицо. Он очень отек, даже при свече видно было, что лицо его приняло зеленовато-голубой оттенок... Но волосы на висках и на затылке, легкие полуседые волосы блондина, еще топорщились и курчавились, и глаза его, большие, выпуклые, голубые, в мерцании свечи казались особенно большими и голубыми.

Я молча стояла перед загородочкой, перед папой. Он поднял отекшее свое лицо, взглянул на меня снизу вверх очень пристально и вежливо спросил:

— Вам кого, гражданка?

И я почему-то ответила деревянным голосом, слышным самой себе:

— Мне нужно доктора Берггольц.

— Я вас слушаю. Что вас беспокоит?

Я смотрела на него и молчала. Не рыдание, не страх, нечто неведомое,— что-то, что я не могу определить даже теперь,— охватило меня, но тоже что-то мертвое, бесчувственное. Он участливо повторил:

— На что жалуетесь?

— Папа,— выговорила я,— да ведь это я — Ляля!..

Он молчал, как мне показалось, очень долго, а вероятно, всего несколько секунд. Он понял, почему я пришла к нему. Он знал, что Николай был в госпитале. И папа молча вышел из-за барьерчика, встал против меня и, низко склонив голову, молча поцеловал мне руку. Потом, рывком подняв лицо, твердым и как бы слегка отстраняющим взором взглянул мне в глаза и негромко сказал:

— Ну, пойдем, девчонка, кипяточком попою. Может, поесть что-нибудь соорудим!..— И добавил, чуть усмехнувшись: — «Щи-то ведь посоленные...»

Я поняла его цитату и услышала всю горечь, с которой он сказал ее. Он очень любил Николая. Но ни о нем, ни о смерти его мы не говорили больше ни слова.

Мы вошли в маленькую, слабо освещенную каганцом кухню амбулатории. Свечку папа принес с собой и тут же потушил ее. Это была государственная драгоценность, ею папа пользовался только на приемах.

Две женщины в халатах поверх ватников — одна низенькая и черноглазая, другая очень высокая, с резко подчеркнутыми истощением чертами лица — всплеснули руками, увидя меня.

— Лялечка,— почти пропела низенькая, черноглазая,— как... как вы выросли!..

— Это Матреша,— сказал папа,— не узнаешь? Матреша, лучшая санитарка. А это — Александра Ивановна... Тоже не узнала?

— Папа, да ведь я у тебя последний раз лет пять назад была...

— Возможно,— бросил он и тихонько захлопал в ладоши.— А ну-ка, бабоньки, чем богаты? Кипяточку нам с дочкой!

Матреша стала хлопотать у маленькой плиты, что-то жарить на сковородке. Отвратительная вонь распространилась по крохотной кухоньке. Я догадалась, что это какой-нибудь технический жир. Пахло омерзительно, но — о, как здесь было тепло!..

Я сняла платок, пальто, вязаную шапку, косынку, надетую под шапку. Я осталась в одном лыжном костюме с непокрытой головой.

— Как у тебя тепло, папа!

Матреша подхватила:

— Тепло! Палисадничек понемножку разбираем. Доктор горюет, да ведь что ж, надо греться-то, правда?

— Правда.

— Лялечка! — воскликнула она.— Может, помыться хотите? Можно даже до пояса. И ноги можно помыть... Я за водой схожу.

Но я вспомнила о ледяной, почти отвесной лестнице, по которой только что карабкалась, и замахала руками.

— Нет, нет, нет, и не грязная, мы там, в Радиокомитете, следим за собой. Вшей в нашей комнате нет. Воду из подвала берем, из бывшей котельной, какая-то странная щелочная вода из лопнувшей трубы по утрам брызжет, но тепленькая бывает. Нет, мы следим за собой. Мы обязали женщин даже губы чуть-чуть подкрашивать. И в зеркало смотреться, чтобы никакой копоти в ноздрях, в углах глаз, в ушах не было. Ведь если хозяйка не смотрится в зеркало — значит, зеркала занавешены, значит, в доме смерть. Вот мы и обязали наших женщин смотреться в зеркало, следить за собой.

На меня напала какая-то болезненная болтливость. Я очень долго молчала последние дни, а тут от тепла, исходящего от печурки, от людей, окружавших меня, я опьянела. Меня вдруг стало клонить в сон, покачивать, в то же время хотелось говорить, говорить о чем угодно.

Я вытащила остаток своего пайка и «гвоздик»-папиросу. Отец захлебнулся от счастья.

— Вот это да! — сказал он, благоговейно беря «гвоздик» своими большими, умными руками хирурга.— Богато живете, мужики!

Нечто вонючее и странное на сковородке было подано на стол. Мой ломтик хлеба мы по-аптекарски аккуратно поделили на всех четверых, разлили по кружкам кипяток — тоже всем ровнехонько-ровнехонько, сели у столика, и было так тесно, что мы невольно прижимались друг к другу, как в битком набитом вагоне... Маленькое пламечко каганца металось из стороны в сторону, тени наши, уродливые и страшные, качались на стенах комнатки, и от этого еще больше казалось, что все мы куда-то едем — далеко-далеко, на поезде дальнего следования. А та, в передней, просто ждет своего...

Скрипнула дверь, и в щель просунулось чье-то коричнево-пергаментное лицо, непонятно — мужчины или женщины, чем-то закутанное и обмотанное, в огромной ушанке, напяленной поверх женского платка.

Ярко светящиеся темно-желтые глаза глянули из-под ушанки.

— Доктор, мы вот...

— Не студить комнату! — крикнул отец.— Залезай весь!

В дверь протиснулся человек (это все-таки был мужчина), он протянул отцу на ладони что-то в бумажке.

Папа раздул ноздри и зашевелил бровями.

— Ну, ну, не валяйте дурака! Опять?..

— Доктор,— протянул дрожащим голосом человек,— не обижайте!

Сердито фыркнув, отец взял маленький сверточек.

— Ну ладно, спасибо, но чтоб в последний раз!.. Как там у вас, все в форме?

— Пока все,— прохрипел человек.— Сегодня, слава тебе господи, тихо, вчера зажигалками замучил...

— Я к вам через часок загляну,— сказал отец.— Ступай! Да не рыпайся, иди тихо. Если что, сразу ко мне!

Пятясь задом, человек чуть-чуть приоткрыл дверь и протиснулся в эту щель, без улыбки, но приветливо кивая нам.

— Пожарная охрана,— сказал папа и, высоко подняв указательный палец, строго взглянул на меня, точно ждал возражения.— Герои! Львы! Л ю д и! Еле дышат, а большого пожара ни разу не допустили. Любят наш объект, комбинат имени Тельмана.

— Чего он принес тебе? Съедобное?

— Деликатес! Около завода «Вена» — пивоваренный, помнишь? — у нас теперь раскопки вовсю идут, барду раскапываем многолетней давности. Раскапывают это все с трудом египетским, разогревают, лепешки пекут. Стоматит чудовищный от этого «деликатеса». Столько народу со стоматитом в день на прием приходит! Ну а как уговорить, чтоб не жрали этого? Матреша, разогрей-ка нам лепешечку!..

Лепешка показалась мне очень вкусной.

— А у нас на Кузнечном бадаевскую землю продают,— сказала я.— Когда бадаевские склады горели, оказывается, масса сахару расплавленного в землю ушло. Первый метр — сто рублей стакан, второй — пятьдесят. Разводят водой, процеживают и пьют...

Когда мы поели, Александра Ивановна куда-то ушла, а Матреша опять предложила мне помыться и я опять отказалась, вспомнив Неву и лестницу, а вспомнив ее, не по необходимости, а движимая чем-то умственным и полузабытым, сказала:

— Отец, ты совсем не бережешь себя...

— То есть? — спросил он удивленно.

— Ну вот... ступеньки во льду вырубаешь...

Он взглянул на меня почти с состраданием.

— Дура ты, дочь моя и знаменитая поэтесса города Ленина,— беззлобно сказал он.— Ибо произносишь все это всуе без веры...

Мы помолчали, и, словно продолжая необрывавшийся разговор, он негромко, задумчиво стал говорить:

— ...А у нас за Невской, мне рассказывали, на одном заводе, кажется Александровском, в литейной старик один был — формовщик. Ну, из тех старых колдунов, которые грамоты не знали, а дело свое знали так, что и заграничные инженеры руками разводили. На Обуховском, например, был в свое время такой литейщик... Отольют, скажем, ствол для пушки — ну, надо его дальше обрабатывать: сверлить там и все такое,— я не понимаю. В общем, массу труда человеческого класть. А вдруг отливка-то бракованная, с этими, как их — ну да — раковинами? Тогда этого деда и зовут: «Дед, послушай, есть в стволе раковины или нет?» Он молоточком постучит, ухо к металлу приложит и говорит: «Раковин нет, можно обрабатывать». Или наоборот. И что ты думаешь — хоть бы раз ошибся! Пробовали ему не верить, разными тогдашними научными методами проверять, а выходило все, как дед говорил. Ну вот и формовщик у нас такой же был. Знал он особый секрет земли. Особый состав ее, такой, чтобы отливка никогда не имела браку, по вине формовщиков, конечно. И никогда, ни разу у него браку не было. Его спрашивают: «Дед, почему у тебя браку не бывает?» А он только посмеивается: «Петушиное слово знаю». И молчит. Ну, в ноябре прошлого года завод, разумеется, встал. Народ разбрелся, только охрана — как вот у нас. А старик чувствует, что помирает: эвакуироваться в свое время отказался. Он тогда своей старухе и говорит: «Сквалыжник я, говорит, и скряга, и грешник великий, говорит, хоть в бога и не верю. До сих пор свой секрет земли никому не передал. А тепер — некому. Кроме тебя. Да ты женщина, притом немолодая, к литейному делу никакого отношения не имеешь. Ну, делать нечего — край. Я не

помру, пока ты мой секрет не усвоишь. Пойдем». Та: «Куда?» — «На завод, в литейную». Повела она его под ручку в литейную, довела — и стал он ее обучать своему секрету земли. Составу, пропорциям... Представляешь — двое голодных, полуумирающих стариков одни в холоднющей литейной... Но ведь каждый божий день, оба истощенные, тащились они в литейную — и трудились, копались в холодной земле. Да еще старик старуху заставлял съедать половину его вечернего супа, говорил: «Я так и так помру, а ты должна выжить, чтоб потом, когда завод заработает, секрет земли всем формовщикам открыть». И ведь выучил ее! И когда она при нем несколько раз состав этот, с его секретом, воспроизвела, лег старик и говорит: «Слава тебе, господи, с чистой совестью на тот свет ухожу». И на другой день помер. Вечная ему память — имя его я обязательно узна́ю. А старуха, говорят, жива, даже, говорят, эвакуировали ее, заботятся: ну как же, такой секрет — это ж важно...

Он помолчал и сказал еще задумчивей, точно говорил только с самим собою:

— А может, к тому времени, когда завод заработает, и не нужен будет стариковский секрет. Изобретут нечто более точное, научное. Неважно. Не в этом дело...— Он помолчал, пожал плечами.— А может, и не изобретут. Выше любви человеческой — разной... к родной земле, к человеку, к женщине или женщины к мужчине,— выше этого ничего, Лялька, изобрести нельзя... Нет, не изобретут... «Ибо тайна сия велика есть»: секрет земли...

И ему, наверное, хотелось поговорить, пофилософствовать даже, с близким человеком, и он много говорил в тот вечер, а мы ведь тогда совсем мало говорили — инстинктивно берегли силы.

Папа рассказывал, как организует стационар на своей фабрике:

— Вот хожу по Невской заставе с нашими фабричными властями и привожу в стационар кадровых наших ткачей и ткачих. Я ведь их всех знаю — слава богу, двадцать лет на фабрике... Эти у меня не умрут! Ну, черт же побери, ведь когда-нибудь фабрика-то заработает! И сукно нужно будет людям, одежонка-то за войну пообтреплется, а?

— Наверное,— сказала я.

Мне было почему-то противно думать о сукне, даже затошнило, когда я его себе представила — серое, жесткое, и почему-то его надо еще разжевать...

Я совершенно опьянела от вонючей еды, от кипятка, от тепла, меня клонило куда-то в сторону, я стала не то засыпать, не то умирать. Черноглазая Матреша первая заметила мое состояние.

— Доктор,— сказала она,— а дочке-то спать пора.

И уже тоном приказа добавила:

— Снимайте валенки, я вам ноги вымыть помогу. Я все ж таки тут снежку натаяла, согрела.

— Мне не снять валенки, Матреша.

— Ну-ка, выпей,— сказал отец и дал чего-то горького.

А Матреша ловко, хотя и с трудом, стянула валенки с распухших моих ног и погрузила их в ведерко с теплой водой. О, какое это было блаженство, ясное, младенческое блаженство! Теплая вода и чьи-то ласковые, родные и властные руки, расторопно скользящие по ноющим ступням,— то санитарка Матреша, стоя на коленях, мыла и растирала мне ноги, и мне почему-то не было стыдно, что мне, взрослому человеку, моют ноги, а она поглядывала на меня снизу вверх милыми своими круглыми глазами и приговаривала чуть нараспев, точно рассказывала сказку про кого-то другого, и я, сквозь сон, слушала ее:

— ...А шла-то издалёка, из города, да ведь все по̀ снегу да по̀ льду... Умница, к папочке шла, правильно надумала... А ведь как на папочку похожа, до чего ж похожа, портрет вылитый...

Я вздрогнула, как вздрагивают, просыпаясь, и взглянула прямо в глаза Матреши: санитарка смотрела на меня с такой любовью, что мне стало ясно: эта женщина тоже любит моего отца...

Княжна Варвара

— Ну я теперь и тебя уложу,— сказал папа и повел меня по своей маленькой бревенчатой амбулатории в какую-то комнатушку. Я легла на койку, а он сел рядом на низенькую табуретку и даже зажег ту свечку, башен-

кой,— с ней было светлее, чем с каганцом, и казалось теплее.

— Отец, чего ты казенный свет палишь? — пробормотала я, кивнув на свечу.

— Ничего, я на минутку. Ты сейчас уснешь, а я зайду к своим пожарникам и к дистрофикам в стационар... Хочу все-таки образцово-показательно наш стационар поставить... Как думаешь, девчонка, поставлю?

— Конечно. У тебя персонал хороший.

— Ах, хороший! — самозабвенно, упоенно почти пропел отец и, смутясь, добавил: — Не воруют!

Он так любил людей — и не человечество вообще, что легче всего, а именно людей, обычных, грешных,— что стеснялся говорить о своей любви к ним, как о чем-то самом интимном. Поэтому он иногда — от ревнивейшей любви — людей обругивал, сердился на них, как Антон Иванович, или говорил о них нарочно грубовато, как сейчас. Он не понимал, что виден людям насквозь со своим страстным и чистым сердцем мудреца и всегда большого ребенка... Он считал себя... циником!

— Нет, верно, хорошие бабенки,— поправился он.— Л ю д и! Ведь Матреша-то каждого так моет, кого приводим, как тебя сейчас... Нет, работать с ними можно... но... но... эх, девчонка! Княжну Варвару мне бы сюда!

...Уже говорила я, что запомнила себя очень рано, еще до первой империалистической войны. Помню я и день, когда папа — неимоверно красивый в мундире с блестящими пуговицами, с огромной шашкой на боку, с пышной своей золотой шевелюрой — уезжал на войну, помню, как бурно шумели в этот солнечный и ветреный день под окнами наши клены и тополя, как кричала бабушка Ольга, и плакали тетки, и голосила Дуня, и молча стояла рядом с папой бледная и тоже очень красивая мама. А может, я и не помню этого, а вообразила все уже потом? Нет, помню, помню, потому что, когда рисуется передо мной картина прощания с красивым и в новой красоте своей почти незнакомым папой, возникает во мне и тогдашнее чувство смутной тревоги, страха, беды, оттого что громко, ликующе лопочет, шумит сочная летняя листва и с ликованием ее сливается надсадный плач женщин. А мама молчит, а отец так прекрасен...

...Он стал работать на войне хирургом во фронтовом санитарном поезде, и в тот же санитарный поезд, тоже

в первые дни войны, поступила сестрой милосердия княжна Варвара Николаевна Б-ва. Она носила такую же косынку с красным крестиком, как наша тетя Варя, но, как рассказала нам потом мама, происходила из очень знатного и древнего рода, была настоящей русской княжной. А тут надо сказать, что в детстве для меня и Муськи среди множества сказочных героев не было никого прекрасней и любимей русской княжны. Мы, конечно, еще очень любили Лисичку-сестричку и Серого волка, но это — из зверей, а из людей милее всех была нам Снегурочка и прекрасней, главнее всех — русская княжна, она же царевна Лебедь. Ну разве можно было сравнить с нею какую-нибудь гриммовскую или андерсеновскую принцессу — даже маленькую грустную Русалочку? Нет, лучше всех была наша русская царевна Лебедь.

Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит;
А сама-то величава,
Выступает, будто пава...

Вот такой и представлялась нам княжна Варвара.

Мы никогда не видели ее в жизни, не видели даже ее фотографий, мы знали о ней из беглых рассказов матери, из случайно услышанных разговоров о княжне между родными и знакомыми.

Княжна Варвара все время работала вместе с отцом на фронтах империалистической, а после Октябрьского переворота, когда отец тотчас же подался в Красную Армию, княжна Варвара пошла вместе с ним и всю гражданскую войну работала старшей хирургической сестрой в санитарном поезде «Красные орлы», начальником которого был мой отец. Санпоезд «Красные орлы» воевал на юге против Врангеля, Каледина и других беляков, дважды поезд чудом вырывался из белогвардейского окружения, многократно был под огнем, принимал короткие, но ожесточенные бои, вел перестрелки — княжна Варвара ни на минуту не отходила от отца, ни разу ничего не испугалась, ни разу не воспользовалась отпуском.

Четырежды смертной хваткой хватал нашего папу тиф — сыпной, брюшной, возвратный, паратиф,— четыре раза княжна Варвара вытаскивала его из смерти.

Мы жили в те годы в древнем городке Угличе и узнавали об этом от мамы: четыре раза долго-долго не было

никаких вестей от отца, а потом вдруг приходило совсем коротенькое письмецо, и мама горько и долго плакала над ним, а потом вела нас в церковь Димитрия на крови, ставила на колени перед страшными темными иконами и чужим, жестяным, не маминым голосом говорила:

— Дети, помолитесь за княжну Варвару. Она опять спасла жизнь вашему отцу.

Давным-давно, целых три года, не было уже в России ни царей, ни князей, ни столбовых дворян, все были просто люди, граждане и товарищи, а цари, князья и царевны остались только в сказках, но мама все еще говорила о красной сестре Варваре Николаевне — «княжна Варвара».

Быть может, именуя так женщину, которая волей судьбы заняла ее место в жизни и сердце любимого ею человека, она находила какое-то, пусть крохотное утоление своей ревности — утоление тщеславием? Все-таки не кто-нибудь, а родовитая княжна спасла жизнь ее мужа, отца ее детей.

Потом отец приехал в Углич и увез нас в Петроград, к дедушке и бабушкам, за Невскую заставу, и началась новая, петроградская жизнь, петроградская школа, и я так и не увидала никогда княжну Варвару, и только глубоко-глубоко в душе, как еле видный лунный серп при восходе солнца, сохранился воображенный в детстве образ.

...И вот отец первый раз в жизни заговорил со мной о княжне Варваре в тот день, когда я, овдовев, пришла к нему из города.

— А где она сейчас, папа? — спросила я.

— Не знаю,— помолчав, ответил он,— я почти не встречался с нею с тех пор, как привез вас из Углича.

И я поняла, что он расстался с ней из-за нас, с тех пор, когда после гражданской войны собрал семью и вернулся в нее, главным образом к нам — ко мне и Муське... Я ничего больше не стала спрашивать у него о княжне Варваре, но облик нестареющей, стройной, пленительной женщины на мгновение мелькнул передо мною в холодных потемках блокадного жилища...

...Я увидела ее через три года после Великой Отечественной войны в больнице, где лежал отец. Тифы гражданской войны, голод и беды блокады все-таки нагнали и доконали его гипертонической болезнью. Он был отличный врач и понимал, что умирает, и как же он тосковал,

что расстается с жизнью, со всем, что так любил в ней,— а он любил многое: труд, людей, пространство, зверей, розы... Он не боялся смерти, он просто иногда не мог скрыть тоски своей по уходящей жизни. Он даже сказал мне однажды тем мальчишеским жалобным голосом, которым когда-то жаловался, что его не берут в народное ополчение:

— Лялька, девчонка... Ты теперь знаменитая — напиши ты кому-нибудь, пусть мне настоящего женьшеня пришлют, а? Скажи — просит мой папа, старый доктор.

— Хорошо, папа,— покорно отвечала я,— я напишу Самуилу Яковлевичу Маршаку. Он постарается...

— Я знаю! Я знаю, что он постарается...

Надо сказать, что в самом начале тридцатых годов — в 1931 и 1932, когда Самуил Яковлевич Маршак редактировал первые мои детские книжки, папа как-то прибежал ко мне страшно оживленный. Каким молодым он еще был тогда! Как часто упоенно хохотал — именно хохотал, а не смеялся!

— Лялька! — закричал он чуть ли не с порога.— Я в газетине вашей читал, что Маршак твой в Германию едет.

— Да. А почему ты так взволнован этим?

— То есть как — почему? Вот рецептики. Один — на меркузал, другой — на люминал. Понимаешь, там у немцев фармакопея знаменитая — байеровская, у нас еще таких лекарствий делать не научились. Понятно?

— Пока нет.

— Ах, господи! Все-то вам разжуй и в рот положи. Ну, у меня одна ткачиха, хорошая такая баба, отекает страшнейшим образом — меркузал ей нужен. А одному ткачу — хороший такой мужик, старательный — люминал. У него какие-то припадки, типа эпилептических, хочу попробовать люминалом его полечить. Ну, так вот, пусть Маршак из Германии привезет мне меркузалу и люминалу. Только непременно байеровского.

— Папа, да ты... да ты пойми — это неприлично, неудобно. Ему же за все это валюту выкладывать придется. Неудобно мне!

— Очень даже удобно. Скажи — просит мой папа, старый доктор. Маршак умный, он все понимает, он пишет отлично: «Крокодил, крокодил, крокодилище!»

— Да это не Маршак, а Чуковский.

— Верно. Спутал. Но у Маршака не хуже. Про вас, всех писателей:

> Разевает щука рот,
> А не слышно, что поет...

— Это Самуил Яковлевич вовсе не про вас писал! Ты просто демагог.

— Про вас! Я читатель, мне виднее... В общем, я знаю, что он человек хороший. Ребята его стихи любят... На́ рецептики. И попроси Самуила Яковлевича. Скажи — мой папа, старый доктор, просит. Для своих ткачей.

И я, пропадая от стыда, все-таки просила Самуила Яковлевича, а он так просто и охотно брал папины рецептики, что стыд мой исчезал, и он два или три раза привозил то, что просил отец... Наверно, до сих пор не знает Самуил Яковлевич, сколько папиных ткачей и ткачих помог он папе поставить на ноги, спасти от смерти...

— Я напишу, папа, обязательно,— повторила я, и не написала, потому что знала уже от врачей, что дни его сочтены, что осталась неделя, много — две. Я знала — необходимо дать телеграмму Муське и матери, чтоб они приехали, но я боялась, что папа поймет, почему мы все вокруг него собрались, и просто не знала, что делать.

В один из таких вечеров, когда он особенно тосковал и дышал уже трудно, мне сказали, что меня просят выйти в вестибюль — там ко мне кто-то пришел.

Я вышла. С диванчика поднялась незнакомая женщина и шагнула ко мне навстречу. Она была высокой, грузной, полуседой, причесанная на прямой пробор, с маленьким старомодным пучком волос на затылке, с широким простонародным лицом, чем-то очень похожа на нашу Дуню, только у Дуни нос был уточкой, а у этой — чуть-чуть дулькой, и глаза были другие — мягко-серые, пушистые, смотревшие умно и печально.

— Здравствуйте, Лялечка...— сказала она, протягивая мне руку.

— Здравствуйте,— ответила я, недоумевая, кто же эта старуха.

Она обеими руками сжала мою правую ладонь и держала, не отпуская, пристально вглядываясь в меня, чуть улыбаясь уголками крупного, наверно, когда-то красивого, рта и грустными, умными глазами.

— Как же вы похожи на отца, Лялечка,— негромко сказала она и, спохватившись, добавила: — Впрочем, простите, мы же знакомы только заочно, да и то это было давно... Я — Варвара Николаевна Б-ва.

Я невольно вздрогнула, вскинула голову, и, наверное, на лице моем выразилось удивление, может быть, испуг, потому что, вновь бегло и грустно усмехнувшись, она прибавила:

— Да, это я. Я пришла попросить вас — помочь вам ухаживать за вашим папой. Я узнала, что он в тяжелом состоянии...

Так это была красная сестра — княжна Варвара, царевна Лебедь нашего детства?

Старая, грустная женщина в простеньком ситцевом платье стояла передо мною, ничем, совершенно ничем не напоминая княжну Варвару, представшую душе в древнем Угличе, в годы гражданской войны и бедственного детства, немного даже неуклюжая, оплывшая женщина... И все-таки было в ней что-то от царевны Лебеди! Что — я еще не могла понять и жадно вслушивалась в ее голос, а она говорила:

— Я уже договорилась с врачами, они доверяют мне пост возле вашего папы... Пойдемте к нему, Лялечка... Простите, я не могу называть вас иначе.

— Пойдемте,— почти механически ответила я, и мы пошли.

Отец лежал, тяжело дыша и прикрыв глаза, но я видела — он не спал.

— Папа,— окликнула я его,— к тебе пришли.

Он повернулся, увидел Варвару Николаевну, и лицо его преобразилось, точно осветилось изнутри и помолодело в самозабвенной, счастливой улыбке.

— Варюша,— протянул он с нежностью неизъяснимой,— родная. Ты со мной?

— С вами, докторёныш, дорогой мой,— ответила она, склонясь над ним и целуя его руки, в то время как он прижимал к губам ее ладони,— конечно, с вами, где же мне еще быть?

— Что ж... как в поезде «Красные орлы», товарищ княжна... смотрим вместе в глаза смерти?..

— Как в поезде «Красные орлы», товарищ начальник,— ответила она и вдруг негромко, счастливо, корот-

ко засмеялась,— как в поезде «Красные орлы» — ничего не боимся...

Я вздрогнула, услышав ее голос и смех: это был голос валдайской дуги — голос любви, голос жизни.

...На этот раз княжне Варваре не удалось вытащить отца из смерти. Но с приходом ее он стал просветленно-спокоен, он не метался и не тосковал, как раньше, точно был уверен в своем выздоровлении, он больше ни разу не спросил меня — попросила ли я Маршака прислать ему женьшеня, он не испугался приезда мамы и Муси, и даже шутил с ними; он умер под валдайской дугой, на руках у красной сестры своего боевого санитарного поезда...

Слава мира

А в тот вечер, когда я лежала у папы в амбулатории, он сидел рядом, поглаживая мне то руку, то голову, как иногда делал в раннем моем детстве, когда у нас была корь или ангина.

И оттого, что он вот так поглаживал мне руку и лоб, оттого, что возник у нас разговор о княжне Варваре и сказочный облик ее на мгновение засветился в холодном полумраке блокадного жилища,— в лицо мне дохну́ло детство, и я вспомнила о Палевском.

— Папа, а что на Палевском? Как тетя Варя? Дуня?

Он долго молчал, неподвижно глядя на свечку.

— Они умерли от голода. Тетка Варя — по дороге в госпиталь. Авдотья — на своей фабрике, на дежурстве. А дом пронило снарядом.

— Значит... там никто не живет?

— Нет. Никто. Там теперь одни сугробы...

Он вновь замолчал, замолчала и я. И вдруг с отчетливостью и достоверностью галлюцинации услышала, как поет Дуня:

А как родимая сторо-онушка...

Дуня всегда выводила тонким, «долгим» голосом только эту строку, потом обильные слезы душили ее и не давали петь дальше. И вот умерла тетя Варя — «по дороге в госпиталь», то есть на той самой дороге, которой сегодня пришла сюда я... Умерла Дуня, так и не спев своей заветной песни-плача, не обновив в Гужове своего золотисто-серебряного плата, ее Скобская губерния с дремучими лесами и бесстрашным братухой занята немцами и вся в непроходимом, холодно серебрящемся снегу, и вымерший, полуразрушенный дом наш тоже занесло снегом, снег стелется по всей России, как Дунин серебряный плат,— только снег, снег и снег и такое же нескончаемое, безмолвное горе, как у меня. Медленно-медленно просыпалась в душе боль, а значит, и жизнь, но я тогда еще не понимала этого.

— Папа,— сказала я вслух,— по-моему, я уже не живу...

— Вранье,— сердито возразил отец.— Живешь. Если б не жила — легла бы и сюда не пошла бы.

— Нет, правда. Мне совсем не хочется жить. Вернее, все равно...

Он ответил печально и ласково:

— Дуреха! А я, например, очень хочу жить... Знаешь, я даже коллекционером стал.

— Что же ты... коллекционируешь?

Он засмущался.

— Да всякую ерунду... Это, быть может, тоже какой-то психоз. Все коллекционирую, что могу: открытки, пуговицы, семена роз.

— Пуговицы? Зачем?

Из-за свечи, из сумерек, не знаю, из какого времени, из каких столетий, прошлых или будущих, он взглянул на меня невероятно чистыми голубыми глазами и сокрушенно признался:

— Знаешь, может быть, это некрасиво, особенно у нас, в Ленинграде, но у меня такая жажда жизни появилась! Немыслимая — как первая любовь — жажда! Нет, даже не жажда, а жадность... Вот-вот-вот... И до того хочется все сберечь, сохранить, просто вот... к самому сердцу прижать! Ну все, что на свете есть: и пуговицы, и открытки, и семена роз. Прижать все к сердцу, до последней пуговицы, чтоб не исчезло...

Как доверчиво смотрел он на меня, поверяя всю эту несусветность, эту «великую дичь» нашего времени, как увлеченно, вернее заговорщически, добавил:

— *Знаешь, мне обещали прислать семена особых роз.*

Называются они «слава мира». Это такие, знаешь, большущие, медленно распускающиеся розы золотистого цвета с чуть-чуть оранжевым ободком по краям. Они вообще-то на юге растут, да и то не везде, но я их здесь разведу, вот около своей амбулатории. Жалко, конечно, что Матреша за зиму палисадник сожжет, ну ничего, другой соорудим. Весной я эти розы и грунт посажу. Ну, года через два-три они должны расцвести... Приедешь взглянуть, а? Как думаешь — хорошо будет?

— Хорошо,— ответила я, с удивлением прислушиваясь к тому, как рядом с нарастающей болью в сердце возникает еще какое-то чувство.

Быть может, то, что Матреша вымыла мне ноги, как мать или старшая сестра, и то, что пожарник принес лепешку из земли — щедрый дар голодного голодному, и оттого, что папа рассказывал о старом формовщике, и теперь говорил о розах именуемых «слава мира», о том, как я приеду к нему,— «значит, будут даже ходить трамваи?» — от всего этого и многого еще не осознанного — да, рядом с болью встало в моей душе некое спокойное и стойкое чувство. Оно, пожалуй, было похоже на гордость, но не было ею. Повторяю, теперь-то я понимаю, что все это было возвращением жизни. «Конечно, отец прав,— подумала я,— я жива, я хожу, я дошла до него... К черту, не прислушиваться к себе, делать все, что можешь! Господи! Да ведь у меня еще две передачи впереди — и на город и на эфир,— надо их сделать как следует... Сейчас посплю, а завтра — крайний срок послезавтра — пойду в Радиокомитет и буду работать. Лучше умереть на ходу и в работе. Но я не умру. Я выживу назло всему, что сделано со мною и с нею... с родимой сторонушкой. Она жива, и она тоже выживет... А сейчас мы с ней будем спать... Она и я. Мы устали. Сейчас ночь. Мы будем спать».

— Папа, кажется, я буду сегодня спать,— сказала я,— потуши наконец государственную свечку...

Он положил мне на лицо большую свою докторскую ладонь, и я поцеловала ее, как в детстве...

— Ну, спи, спи, это лучше всего... А потом ты увидишь у меня в палисаднике розы «слава мира»...

Он встал и, прежде чем затушить свечу, окружил ее желтый огонек ладонями и показал округлым движением, какие розы будут большущие и как будут распускаться.

— Вот так, понимаешь, вот так — огромные, золотые,— говорил он, пошевеливая пальцами,— вот такой величины могут быть! А? Здорово?!

А я смотрела на его руки: освещенные изнутри, просвечивающие по краям розовым, они как бы сами источали почти ослепляющий золотисто-розовый свет;

руки русского доктора, хирурга, спасшие тысячи и тысячи солдатских и иных жизней, вырубившие во льду ступеньки к проруби, сейчас действительно похожие на огромный невиданный цветок;

такие же прекрасные, как руки бабушки моей, чугунные на вид, перевитые темными венами, узлами и мозолями, руки, которыми благословила она в дни штурма города меня и всю страну нашу;

такие же властные и добрые, как руки Матреши;

такие же большие, и умелые, и бесстрашные, как руки старого заставского формовщика;

руки, источающие свет и силу, знающие и передающие друг другу и будущему секрет земли, трудовые руки — высшая, подлинная слава мира.

«Да, я увижу папины розы»,— подумала я твердо и просто, как о чем-то обычном и само собой разумеющемся,— так, как говорил об этом отец...

Путь возврата...

С тем же чувством спокойной твердости пошла я на второе утро обратно в город, все по тому же пути, по которому, почти мертвая, шла сюда позавчера и, безмерно счастливая, исступленная, бессмертная, отсюда — четыре месяца назад. Я не думала о позавчерашнем пути и не испытывала ничего похожего на «день вершин».

Я знала теперь, что горе мое бессрочно, что вдовство мое никогда не пройдет, даже если я полюблю другого человека. Но все равно я буду жить. Я была так же слаба, как позавчера, но я знала, что должна идти, должна жить и работать, потому что работа моя нужна людям. Я не испытывала, повторяю, от этого сознания ни гордости собой, ни счастья. Я просто шла и делала дело;

обдумывала предстоящие свои радиопередачи, вперемежку с ними тихонько бормотала внезапно возникающие строки стихов, которые необходимо было написать ко дню Красной Армии — тоже по заданию Радиокомитета...

Я знала уже, о чем они будут: вот — о сегодняшнем дне Ленинграда, о себе как одной из ленинградок, о том, что было главного с нами за восемь месяцев войны, о том, что мы чувствуем, как воюем сейчас, о том, что, голодные, теряющие самых близких людей, сами умирающие, мы любим жизнь и поэтому обязательно победим.

Мне не терпелось написать об этом, написать всю правду, не щадя ни себя, ни читателя, хотелось, чтоб вышло хорошо, достойно сограждан моих, хотелось скорее отдать им это. Вот этой женщине, везущей на саночках запеленатый в простыню труп, вот этому командиру, попавшемуся навстречу — он идет за Невскую, наверно на фронт, в 51-ю,— и Матреше, и папе, и тем женщинам, с которыми ползла вверх по ледяной горе от проруби...

Теперь, когда я обдумываю все три похода — сперва из-за Невской, потом за Невскую и обратно,— вспоминается одна индийская мудрость, ставшая известной мне уже после нашей победы в изложении Ивана Бунина... Я излагаю ее менее сложно и тонко, чем он, но уверена, что точно передаю сущность.

Так вот, индийская мудрость гласит, что человек должен пройти два пути в жизни: путь выступления и путь возврата. На пути выступления человек находится в тех своих личных границах, куда заключена часть единой жизни; человек живет главным образом только собой, живет корыстью чисто личной, жаждой «захвата», жаждой «брать» — для себя, для своего племени, для своего народа. На пути же возврата теряются границы его личного и общественного «я», кончается жажда «брать» и все более и более растет жажда «отдавать» — взято у природы, у людей, у мира. Так сливается сознание и жизнь человека с единой Жизнью, с единым «я» — начинается его подлинное духовное существование.

Повторяю, я приблизительно излагаю изложенное другим, и это положение, эту мудрость на нашу — на мою — жизнь нельзя, конечно, наложить так, чтобы все точки их совпали.

И все-таки мне кажется, что головокружительно-счастливый и страшный путь мой в октябре 1941 года из-за Невской заставы, несмотря на все ощущение слитности с жизнью всеобщей, был все еще в какой-то мере «путем выступления», а вот путь от отца, когда главным желанием было отдать, как можно больше отдать согражданам и своей земле необходимых для ее дела сил и слов,— это, вероятно, было началом моего вступления на «путь возврата».

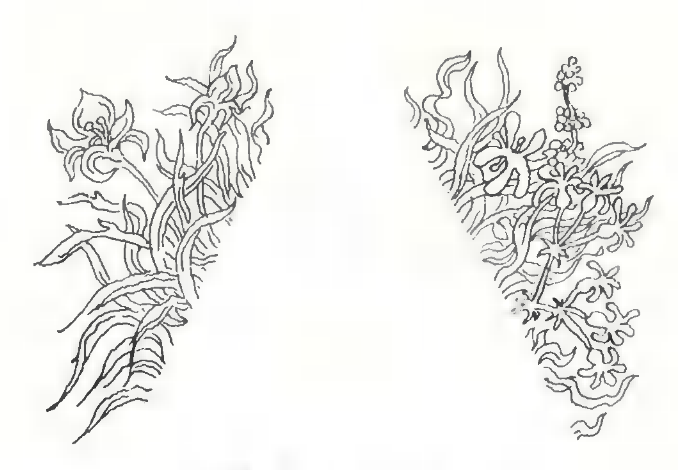
Нет, не прекратилась и не умерла во мне «жажда брать», даже от прошлого, но «жажда отдавать взятое» — преобладает.

Отдавать не только то, что ты взял, но отдавать преображенным в слове, прошедшим через душу, ставшем ее сущностью.

Об этом — только другими словами — говорила я в начале моих записей в главке «Дневные звезды» и на этом же обрываю их, как всегда неожиданно для себя.... И, дочитав эти записи, некоторые могут спросить: «Да, в самом деле! Ведь ты обещала нам дневные звезды — где же они?»

На что я отвечаю: «Я раскрыла перед вами душу, как створки колодца, со всем его сумраком и светом. Загляните же в него! И если вы увидите хоть часть себя, хоть часть своего пути — значит, вы увидели дневные звезды, значит, они зажглись во мне, они будут все разгораться в Главной книге, которая всегда впереди, которую мы с вами пишем непрерывно и неустанно...»

1958—1959



Доброе утро,
люди!





«Наш Фриц умирает...»

И я вернулась в город и дошла до Радиокомитета. Около подъезда артист Иосиф Горин старательно наматывал на руку веревку, к которой были привязаны детские санки.

— На пожар, Ося?

— На пожар.

Три дня тому назад загорелся дом его сестры, где-то на Литейном, и Ося каждый день, как на работу, ходил на пожар, собирался медленно, обстоятельно и не торопясь.

Пожары у нас в Ленинграде в ту зиму были длительные, медленные, и тушить их было нечем — не было воды. Жители просто выносили из дому то, что были в силах вынести.

— Все еще горит?

— Да, третий этаж.

Мы немного помолчали.

— А что нового в Радиокомитете?

— Да все то же... Вот — наш Фриц умирает...

— Наш Фриц умирает? Не может быть!!

Я только вчера узнала о смерти тети Вари и старой няньки моей, Авдотьи, то есть о смерти части души своей,

части жизни и детства, и уже, казалось, ничто не могло бы поразить меня больше. И все же известие, что наш Фриц умирает, поразило меня. Настолько облик Фрица и понятие смерти были несовместимы.

В иностранном отделе Радиокомитета, который занимался пропагандой на противника и который мы величественно именовали «отделом контрпропаганды», кроме начальника отдела Николая Верховского и помощника его Всеволода Римского-Корсакова, работали два немца, вернее — австрияка, братья Фриц и Эрнст. Эрнст был худенький, с глубоко сидящими глазами, почти миниатюрный, а Фриц был типичный довоенный литературный «фриц»: румяный, белокурый, голубоглазый, плотный и очень добродушный. Нередко по заданию этого отдела я писала короткие воззвания, обращенные к немцам, а Фриц или Эрнст наговаривали их на пластинку, и Сева Римский-Корсаков ездил с этими пластинками на передний край, к Ижорскому или Путиловскому заводу, и там их передавали через радиоузел так, чтобы слышал противник...

Я никогда не забуду один октябрьский вечер, когда уже голод властно входил в Ленинград, а немец штурмовал город и был на ближних подступах к Москве. Мы все впятером слушали передачу из штаб-квартиры Гитлера. Один из наших немцев стенографировал ее.

Сначала мы услышали ревущие фанфары: они даже не проревели — они прорычали какой-то грубый, наглый торжествующий марш. Сытый и в то же время жестяной голос произнес: «Сейчас будет говорить штаб-квартира фюрера». Потом снова пять минут ревели фанфары.

Мы сидели у приемника, сжав кулаки, стиснув зубы. И вот после отвратительного рычания и марша фанфар сытый, самодовольный голос почти лениво произнес, что «под Москвой окружено и уничтожено несметное количество» наших войск, что дни большевистской столицы сочтены, а Ленинград тоже обречен.

И после этого сообщения вновь долго и грубо ревели, рычали, громыхали фанфары, и вдруг сразу, без паузы, страшный этот, дикий марш перешел в беспечный, мурлыкающий фокстрот.

Фокстрот следовал за фокстротом, и томное танго за танго, без остановки, пока в темном нашем городе, отрезанном от всей страны, стучал метроном. Он стучал уча-

щенно, как напряженное сердце,— в городе шла воздушная тревога. А фашистский Берлин, разбойничий притон, веселился! Они отплясывали и ликовали потому, что реки крови пенились в России, горели тысячи русских деревень и на ленинградских улицах женщины и дети уже падали от голода.

И начальник отдела Николай Верховский сквозь зубы сказал:

— Ну... будет время... у них метроном и двух месяцев не простучит!

Сухонький Эрнст добавил:

— Меньше.

Фриц улыбнулся не свойственной ему недоброй улыбкой.

Потом мы занялись каждый своим делом...

А еще совсем недавно, накануне Нового года, вернее — накануне рождества, я получила задание написать передачу на противника именно в связи с наступающим рождеством... Я писала передачу-листовку в своей обледеневшей квартире, уже тяжело опухшая от голода. Я писала:

«Немецкий солдат, ты мерзнешь и голодаешь в своих окопах под Ленинградом. Но вспомни только, как еще недавно было уютно у тебя под рождество дома. Вспомни, как зажигалась елка и трещали дрова в печке... Неужели это навсегда ушло от тебя? Во имя чего?! Во имя чего ты стынешь под Ленинградом?.. Ты обмерзаешь, ты можешь стать калекой...»

И вдруг мысль о том, что ведь это все правда и что живые люди мерзнут в холодной земле под нашим городом, и мерзнут так же, как мерзну я сейчас, что они тоже люди,— пронзила меня. Я немедленно оттолкнула эту неправильную, ненужную мысль. Но все же эта мысль, вернее — даже ощущение, а не мысль, возвращалась ко мне, как бумеранг, за какие бы вернейшие лозунги ни забрасывала я ее, и с каждым разом все сильнее била по душе.

«Нет, это враги, а не люди»,— сказала я себе и стала писать дальше: «Неужели же тебе не хочется вернуться к теплу и радости домашнего мирного очага...» О, хочется, хочется, мне — очень хочется! Я ведь помню и елку в детстве за Невской заставой, и недавние милые и веселые встречи Нового года в нашем электросиловском клубе,— о, где же это все, зачем оно отнято, где простая, мирная жизнь, как она обижена, как жестоко обижена...

«Что за вздор? Я запсиховала от голода,— сказала я себе шепотом.— Это враги, захватчики, интервенты, и только». Так что же, мне жалко их? Нет! Но мне жалко... Мне жалко нас. Мне жалко нас вместе, как нечто существовавшее когда-то в прекрасном человеческом единстве, как нечто живое, целое и вдруг беспощадно и бессмысленно рассеченное кем-то Третьим — не человеком, кем-то чуждым человечности. Да, этот кто-то Третий рассек нас, единого Человека, единое человечество, и бросил рассеченные половины друг на друга, чтобы мы терзали и ненавидели друг друга, и встал между нами. Одна половина единого Человека по злобной воле Третьего лишнего грызет, терзает и ненавидит другую половину. Вот этого Третьего лишнего я ненавижу всей силой души и жизни. Этот Третий — фашист. Он терзает меня, он разбомбил дом Фрица, и тот чудом спасся из-под бомб, и немцы Фриц и Эрнст голодают так же, как я. У них тот же враг, что у меня. Вот этот Третий лишний — фашизм, гитлеризм.

Нет большего преступления перед человеком и жизнью, чем преступление Третьего. И я написала передачу, вложив в нее всю личную, единственную, неповторимую жажду мира и счастья, и всю свою ненависть к фашистам, и желание елки.

«И если ты не повернешь своих пушек против Гитлера, немецкий солдат, ты не уйдешь из-под Ленинграда живым!»

Так заканчивалась листовка, и я дописывала ее на полном спокойствии души, убежденная в своей правоте. Наш Фриц наговорил ее на пластинку, и Всеволод Римский-Корсаков отвез пластинку в сочельник на передний край — на Ижорский завод. Он вернулся закоченевший, но довольный: передавали с очень близкого расстояния — так что было слышно, как немцы поют у себя рождественские псалмы, но передачу, несомненно, слушали, потому что, когда она началась, псалмы умолкли и по нашему голосу не били.

— А голос твой звучал там — дай бог,— сказал Сева Фрицу.— Ты молодец, Фриц!

И наш Фриц довольно улыбнулся.

И вот теперь наш Фриц умирал так же, как умерли моя Дуня, и тетя Варя, и — уже — сотни тысяч других ленинградцев.

— Ну ладно, Ося,— сказала я.— Иди на свой пожар.

— Пока,— ответил он. И тихо поплелся на пожар.

Уже давно все основные работники Радиокомитета жили на казарменном положении тут же, где работали. Я зашла в иностранный отдел, и, хотя не была тут всего два дня, перемена в лицах Верховского и Римского-Корсакова удивила меня. Они были почти черные, высохшие, а Эрнст был совсем как обугленный.

На койке за ширмой лежал Фриц. А он был не черный, но совсем прозрачный и очень короткий. Он попытался улыбнуться, увидев меня.

— Ну, что же ты, Фричушко? — сказала я.— Что же это ты выдумал валяться?

— Ничего,— ответил он с едва заметным акцентом.— Я скоро встану.

И он не умер. Ни он, ни Эрнст. Фриц работает сейчас в Австрии. А Николай Верховский, до войны стремительный, высокий здоровяк, умница, талантливый литературовед, и мягкий, необычайно обаятельный Всеволод Римский-Корсаков через несколько дней после того, как стал умирать наш Фриц, были отвезены товарищами на саночках в гостиницу «Астория», в стационар. Но их ничто уже не могло спасти, и они умерли там. Уже без них я делала передачу — «Берлин пал». Эрнст оказался прав: Берлин не продержался и двух недель.

А через три года после победы мы, группа ленинградских писателей, встретились в зале гостиницы «Астория» с делегацией немецкой интеллигенции, приехавшей из Германии, из Берлина.

Встреча в «Астории»

Делегация почти целиком состояла из коммунистов или близких к партии антифашистов. Среди них были: замечательная писательница Анна Зегерс, маститый Бернгард Келлерман с супругой, Стефан Фермлин, поэт, беллетрист, критик, в прошлом старый комсомолец, ныне — то есть уже тогда, в 1948 году — коммунист; Вольфганг Лангхоф, актер и режиссер, член партии со спартаковских времен, автор книги «Болотные солдаты», побывавший в гитлеровском лагере, а в те дни и посейчас руководитель театра имени Макса Рейнгардта. Был профессор Юрген Кучинский, известный экономист, автор многих капитальных трудов по политической экономии, старый член партии; Эдуард Клаудиус, прозаик, старый антифашист, сражавшийся в Испании, а во вторую мировую вместе с партизанами Северной Италии сражавшийся против Гитлера; Гюнтер Вайзенборн, поэт и драматург, участник движения Сопротивления группы «Красная капелла», освобожденный из тюрьмы нашими войсками; Михаэль Чесно-Хелль, старый член партии, был в эмиграции в Швейцарии, тельмановец, один из авторов сценария о Тельмане, и другие.

И вот мы уселись за стол, ломившийся от яств, от дорогих вин, в банкетном зале — в том зале, где во время блокады был морг.

И был поднят первый бокал, произнесен первый тост. Раздались шумные, но холодные аплодисменты. Мы сидели рядом с антифашистами, с коммунистами, и все-таки буквально каждый из нас (я говорю о ленинградских писателях) ощущал, что между нами и н е м ц а м и стоит некая невидимая, но нерушимая стена, вроде как бы стена из особого стекла или льда, через которую мы видим друг друга, пытаемся объясниться, но друг друга не слышим. Они были немцы, они приехали из той страны, из того города, откуда ринулось на нас, на нашу Родину несколько лет назад озверевшее, лязгающее железо под рев людоедских фанфар, откуда пришли в наш город непроглядная тьма, ледовитый холод, жажда и голодный мор и безвозвратно унесли тысячи и тысячи ленинградцев, среди которых были люди такой душевной чистоты и отваги и беззаветности, как покойный мой муж Николай, как работник Радиокомитета Яков Бабушкин, как старая няня моя Авдотья и тетя Варя, как Николай Верховский и Всеволод Римский-Корсаков, умершие в этом здании.

Я вспомнила, что в этих самых залах Гитлер собирался устраивать торжественный банкет для офицеров по случаю взятия Ленинграда, что были даже заготовлены пригласительные билеты на этот банкет и медали за взя-

тие Ленинграда. Я подняла тост за то, что мы пируем в «Астории» с другими немцами и по другому поводу. Тосту удовлетворенно, но прохладно поаплодировали.

И мы улыбались друг другу, но чувство отчужденности, больше — чувство глубокой усталости и необратимой утраты никак не могло сойти у меня с души. Это чувство утраты — огромной, общечеловеческой — даже как будто проросло с новой силой во время встречи с немцами здесь, в «Астории». Я чувствовала какую-то саднящую сухость в глазницах, сухость во рту, сухость в душе.

Тамадой с нашей стороны был Евгений Львович Шварц, изумительный драматург и, несомненно, последний настоящий сказочник в мире, человек огромного, щедрого, чистого воистину сказочного таланта. Невозможно было не поддаться обаянию Евгения Львовича...

И вот он встал и на нарочито нелепом русско-немецком языке начал представлять немецкой делегации нас, ленинградских писателей.

— Их бин дер Шварц,— важно сказал он, указывая на себя. И мы все засмеялись, потому что и манера говорить и интонация Евгения Львовича не могли не вызвать веселящей душу улыбки.

— Их шрайбе ди пьесы...— продолжал он.— Дас ист поэтессен Олга Берггольц, она шрейбен ейне стихи...

Так он представил всех ленинградских писателей, милый, веселый, изобретательный, и поднял тост за нашу дружбу, и мы, стоя, выпили за нее.

И вновь — после порыва теплого, влажного ветра — наступило некое отчуждение, точно дышал на нас кто-то смертным холодом.

После Евгения Шварца выступил профессор Юрген Кучинский. Он говорил о том, как они ходили сегодня по весеннему Ленинграду, любовались этим неповторимым городом, видели его еще не зажившие раны...

— ...И мне было странно,— говорил он,— что в этом городе в нас никто не бросает камнями. Сидящие здесь не виноваты в том, что произошло, но чувство стыда и вины за свой народ не покидало нас. А вы, вместо того чтобы бросать в нас камни, встречаете нас так дружелюбно... так дружелюбно...

Он говорил, и по щекам его бежали слезы. Мы видели, что немцы взволнованы и потрясены тем приемом, кото-

рый оказал им город, так тяжко пострадавший в дни Великой Отечественной войны. Но Третий лишний — или проклятая тень его? — все стоял и стоял между нами, тягостная недоуменность разделяла нас, и надо было сказать и сделать что-то очень простое, чтобы все стало ясно и стало возможно снова жить и дышать. Но что?

И вдруг неожиданно кто-то из ленинградских писателей запел песню Красного Веддинга — одну из тех песен, с которыми приезжал в начале тридцатых годов в Ленинград Эрнст Буш и пел их в Филармонии, на заводах и даже у нас, в нашем незадачливом «доме-коммуне инженеров и писателей», известном более в городе под названием «слезы социализма».

И вдруг все сидевшие за столом подхватили эту песню:

— Левой... левой...
Ты придешь, товарищ, к нам.
Ты придешь в наш единый рабочий фронт,
Потому что рабочий ты сам.

И вдруг вся юность наша взмыла над нами, как два гигантских крыла, как пылающие красные знамена, как океанская волна, взмыла и обрушилась на нас всей своей свежестью, всем своим светом и всей своей верой в Революцию, обрушилась и начисто смыла Третьего лишнего, того, кто хотел нас поссорить.

О господи, да ведь и юные спартаковцы, и Тельман, и юнгштурмовки, и поднятый вверх сжатый кулак с возгласом «Рот фронт!» — это же тоже шло к нам из Германии, от ее Революции, от ее рабочего класса!

И мы пели песню за песней: и «Болотные солдаты», и другие песни Эрнста Буша, и потом «Бандера росса», и «Варшавянку», и — стоя — «Интернационал», и наслаждались ощущением нерушимой человеческой любви, любви людей друг к другу, той любви, которую несет человечеству только социалистическая Революция.

А потом, уже после банкета, на рассвете, несколько ленинградских и немецких писателей — среди них были Михаэль Чесно-Хелль, я, Лангхоф, Лев Левин и другие — долго ходили по Ленинграду и вышли к Неве, когда было уже почти светло.

Приближались белые ночи, светало очень рано. Нева, и Университет на той стороне, и ростральные колонны

были несказанно прекрасны, и юное солнце бросало на них первые, прозрачно-золотые блики... И вдруг я обернулась к немецким товарищам и сказала, безмерно радуясь:

— Гутен морген, фриц!

Они удивились, но я повторила эту фразу несколько раз, и кто-то спросил меня, в чем дело, но я ничего не рассказала об этом тогда — я расскажу об этом сейчас.

«Гутен морген, фриц»

Так вот, была у нас в Ленинграде у моей подруги дочка Галя. Когда началась блокада, ей было около четырех лет, а старшему брату ее, Вадику, лет десять. Дети были умненькие и пытливые, всем интересовались и, как все блокадные ребята, понимали и думали свыше своих лет. Они переносили голод с мужеством и терпением, которым позавидовал бы иной взрослый. Они никогда не скулили, не плакали, не клянчили у матери еды. Они понимали — этого делать нельзя. Одетые во все теплое, в шубейках и шапках-ушанках, они безмолвно, неподвижно сидели рядышком на кровати в очень холодной большой комнате, сидели и молчали... ждали очередной кормежки.

И Галка ни разу не попросила есть раньше срока. Но, съев какую-нибудь столовую ложку соевой каши или блюдечко дрожжевого супа с крохотным кусочком хлеба, она обязательно вздыхала, улыбалась и, заглядывая в сумрачное, полное круто сдержанного отчаяния лицо матери круглыми своими, милыми глазами, говорила заговорщическим тоном:

— А когда в следующий раз фрицы к нам под Ленинград придут, мы все булки в чемоданы спрячем. Вот они у нас их не отнимут.

Она уже знала, что это «фрицы» — немцы — отняли у нее пищу, что это из-за них она и Вадик не могут играть, радоваться, бегать в соседний Екатерининский садик, а могут только вот так безмолвно сидеть, прижавшись друг к другу.

Надо сказать, что к мысли о «фрицах», о врагах, Галка возвращалась очень часто,— с каждым годом блокады

все чаще. Если они с матерью проходили мимо разбомбленного дома, Галя непременно спрашивала:

— Мама, а в э т о м доме кого фриц убил?

Мать отвечала односложно, угрюмо:

— Мальчика.

Шли дальше.

— Мама, а вот в э т о м доме кого фриц убил?

— Старушку.

Но если Галка не плакала и не просила есть, понимая, что того делать нельзя, то, когда случался воздушный налет или артиллерийский обстрел, она начинала метаться, как-то совсем не по-детски тосковать, беззвучные крупные слезы бежали у нее по щекам, и, поднимая к матери умоляющие глаза, она спрашивала:

— Мама, ну почему фриц хочет меня обязательно убить?

— Потому что он — фриц. Немец.

Галка продолжала молча плакать.

— Ну чего ты плачешь, Галочка,— утешала мать.— Мы же в первом этаже. Он сюда не попадет. Ты же у меня храбрая, не бойся.

— Я не боюсь,— ответила Галя, когда ей было уже почти семь лет.— Нет, я не боюсь. Мне обидно...

«Нельзя, чтобы плакало дите...» А дите плакало от обиды, что его зачем-то хотят убить...

Рокот самолетов в небе, свист бомбы пронизывали Галку неистовым страхом, и она не любила смотреть на небо.

Маленький, низкорослый человек, гуляя по улицам в минуты затишья, она смотрела больше себе под ноги и, заслышав самолет, бежала в подворотню.

И вот настал день, когда Ленинград салютовал в честь полной ликвидации блокады. Мать вывела Галю и Вадика на улицу, и они встали рядом со своим подъездом, напротив угла Гостиного двора. А на углу Гостиного двора висел громадный плакат, изображавший фашиста в каске с рогами, гориллообразного, несшего в вытянутой руке окровавленную женщину.

Раздался первый торжественный, праздничный, победный залп. Миллионы сверкающих огней взлетели в небо, и дети подняли глаза, следя за каскадом огней, стремглав летящих и падающих, сверкая, ликуя, трубя!...

Но в ту секунду, как Галка подняла глаза, вгляд ее упал на плакат, напротив, на плакат, ярко озаренный победным огнем.

— Мама,— замерев, спросила Галя,— кто это?

— Это фриц,— ответила мать.

И Галя больше не отрывала глаз от плаката. Она смотрела на ту гнусную рогатую гориллу и тихонько повторяла:

— Так вот он какой — фриц... Так вот, значит, какой он...

Мать испугалась этого шепота. Она стала тормошить девочку.

— Галя, Галенька! Да ты посмотри на огоньки! Не смотри ты на эту дрянь!

Но Галя не смотрела на фейерверк, на ликующий салют... Она неотрывно смотрела на своего врага, который отнял у нее булки и хлеб, который непременно хотел ее убить, смотрела и шептала:

— Так вот он какой — фриц...

Наступила весна. Вадик и Галя целыми днями могли играть теперь в садике возле их дома — ведь обстрелов и бомбежек больше не было! — в сквере около Александринского театра. И вот однажды в полдень Галя пришла с прогулки необычно притихшая, задумавшаяся как-то слишком глубоко и важно для ребенка. Она повздыхала, походила от окошка к окошку, потом подошла к матери и сказала:

— Мама, знаешь, а я сегодня живого фрица видела...

Тут надо сказать, что очень мало кто из нас, ленинградцев, видел живых немцев во время блокады. Мы имели дело с врагами-невидимками, и это было, наверное, мучительнее, чем иметь дело с врагом, лицо которого видишь.

— Где же? — спросила мать.

— А мы в сквере играли, и вдруг мальчишки прибежали и кричат: «Ребята, ребята, пойдемте живых фрицев дразнить, они Александринку ремонтируют». Ну мы и побежали. И мальчики стали кругом них прыгать и дразнить; я вот тут и увидела живых фрицев.

— Ну и какие они?

Галя замялась, потупилась и сказала тихо:

— Знаешь, мама, они худые, зеленые такие, как наши дистрофики.

— Ну и как же ты их дразнила?

Галя потупила еще больше беленькую, круглую свою головку, смущенная, чуть виноватая улыбка озарила ее лицо. Но она прошептала внятно и твердо:

— Я не дразнила. Я подошла к одному и сказала ему: «Гутен морген, фриц!» И знаешь?! Он меня по голове погладил!..

И она прямо и твердо взглянула на мать и снова смущенно улыбнулась, чего-то стыдясь, чему-то удивляясь и радуясь, чего она еще не могла понять умом.

Я вспомнила о Галином «гутен морген, фриц» тогда, когда мы с немецкими товарищами ходили по весеннему Ленинграду, озаренному утренним солнцем, после встречи в «Астории», как бы омытые теми объединяющими нас на всю жизнь драгоценными идеями и образами, которые вызвали эти песни.

Мы ходили, осчастливленные тем, что, несмотря на бездонную реку крови, пролившуюся из-за Третьего лишнего между нашими народами — двумя самыми трагическими народами мира,— мы все же можем по-человечески общаться друг с другом, общаться искренне и чистосердечно, так же, как Галя сказала пленному немцу: «Гутен морген, фриц!», что, несомненно, означало для нее: «Доброе утро, человек!» Не фриц, не немец, а Человек!

И как же радостно мне было обратить это Галино приветствие к только что обретенным новым друзьям моим! Но я тогда не рассказала им, что это для меня значит,— показалось неуместным, и так уж вечер был перенасыщен, и сердца наши еле выдерживали горькое, терпкое счастье его.

Я дважды виделась после этого с Анной Зегерс, человеком и писателем, которого я люблю все больше и больше. Приезжал в Ленинград на просмотр и обсуждение своего фильма о Тельмане Михаэль Чесно-Хелль, и мы два дня подряд встречались, много и сердечно говорили о прошлом, о настоящем, о будущем. И каждый раз, когда я встречалась с немецкими товарищами, или читала их книги и книги Эриха Марии Ремарка, такие, как «Время жить и время умирать», или думала о них,— неизменно само собой произносилось внутри и звучало все светлее и тверже: «Гутен морген, фриц!» И думалось: да,

вот это и есть то самое главное, самое простое и самое ясное, что нужно сказать людям друг другу, чтобы никогда не повторился ужас войны минувшей и не настал еще больший, кромешный, безвыходный ужас войны атомной.

— Доброе утро, Человек,— ведь вот главное, что нам нужно сказать друг другу.

Нет, я вовсе не призываю к вселенскому всепрощению. Мы никогда не простим Галиных слез и ее обиды фашистам — ни тогдашним, ни теперешним, ни их потатчикам. Но в 1945 году, идя по Германии, карая гитлеровцев, уничтожая фашизм, советские бойцы прежде всего кормили голодных немецких ребятишек: они-то, бойцы, слишком хорошо знали по собственной жизни, что такое голодное, обиженное, плачущее дитё. А ведь «нельзя, чтобы плакало дитё»! Нигде в мире нельзя! И недаром в Берлине над могилами павших победителей высоко и незыблемо стоит солдат, рассекающий мечом свастику и прижавший к груди ребенка... И мне все кажется, что ребенок этот — девочка — похож на нашу маленькую блокадницу Галю...

...Мой Углич, мой город детства, больше не снится мне, после того как я семь лет назад побывала в нем. Он не снится мне даже таким, каким я увидела его в 1953 году. Может быть, это оттого, что между той поездкой и сегодняшними моими днями легла такая радость, которая не приснится, и горе, от которого нельзя уснуть.

Зато досадно часто снится мне будущая война. Мне снится, как в воздухе появляются огромные летательные аппараты, похожие на дирижабли воздушного заграждения. Они бесшумно движутся на меня, на мой город. Тут главный страх в том, что все происходит бесшумно. Это начало всеобщей гибели, и прежде всего в мире умер звук. Никто и ничто не издает ни единого звука... И то, что должно допеть,— не поет; и то, что должно звенеть,— не звенит; и даже то, что должно шептаться,— не шепчется... Все безмолвно, все происходит в уже мертвой тишине.

Безмолвно летят громадные серебристые сигары-дирижабли, безмолвно падают бомбы, не свистя, не урча, как раньше.

И вот я вижу — высоко в небе, совершенно безмолвно, надо мной подни[illegible] розовый дом. Я лежу навзничь, я смотрю на очень синее небо и вижу, как он там бесшумно разламывается пополам и розовые его стены начинают падать на меня. Гибель происходит в полной тишине. И если я даже крикну или попытаюсь застонать — меня никто не услышит: звук в мире уже не рождается. Планета глуха и нема. И вот когда уже кажется, что гибель неотвратима,— вдруг взрывается звук, и я слышу, какой-то голос властно и четко приказывает мне:

— Встать! Это — сон!

И я просыпаюсь и несколько минут лежу в глубоком изнеможении, бессильная, как-то бессильно радуясь, что это был сон, и с отвращением вспоминаю его. Я знаю, что у Родины моей достаточно сил, чтобы этот сон никогда не стал для нее явью. Но я не хочу даже видеть таких снов, я хочу, чтоб никто, нигде их не видел. Я хочу просыпаться с ощущением, что за окном — огромный, дружный, работящий мир. Мир, где нет ничейной земли ни между союзниками, ни между противниками. Нет ничейной земли, но есть земля цветов и злаков, земля деревьев и зверей, земля труда и любви — человеческая Земля. Мир, звучащий миллионами звуков. Нет, он совсем не нем — он может сказать все, что хочет, он вовсе не глух — он услышит каждое слово добра и правды. И то, что должно говорить,— говорит, и что должно петь,— поет, и что должно звенеть,— звенит, и даже то, что должно шептаться,— шепчется... Мне хочется проснуться и подойти к окну, открытому в такой мир, и сказать так, чтобы это услышали народы и каждый человек в отдельности:

— Доброе утро, люди!

1960

Оглавление

Р2
Б48

Берггольц О. Ф.

Б48 Дневные звезды. М., «Современник», 1975.
172 с. с илл.

Творчество Ольги Берггольц, лауреата Государственной премии, широко известно не только в Советском Союзе, но и за рубежом. Ее книга «Дневные звезды» — это философски обобщенный дневник, сочетающий воспоминание о трагическом времени Ленинградской блокады с многообразными лирическими ассоциациями, позволяющий понять и почувствовать «биографию века», судьбу поколения.

Б $\frac{70302-029}{М106(03)-75}$ 71—75 Р2

Ольга Федоровна Берггольц
ДНЕВНЫЕ ЗВЕЗДЫ

Редактор *М. Соколова*
Художник *Б. Лавров*
Художественный редактор *Б. Мокин*
Технические редакторы *О. Ярославцева, В. Никифорова*
Корректоры *Н. Попикова, Т. Храпонова*

Сдано в набор 11/IX—1974 г. Подписано к печати 20/XII—1974 г. Формат изд. 84×108 1/32. Бумага тип. № 1. Печ. л. 5,5. Усл. печ. л. 9,24. Уч.-изд. л. 9,1. Тираж 300 000 экз. Заказ № 4-396. Цена 52 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Книжная фабрика им. М. В. Фрунзе Республиканского производственного объединения «Полиграфкнига» Госкомиздата УССР, Харьков, Донец-Захаржевская, 6/8.

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Просим Вас отзывы о книге, ее содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении направлять по адресу:

121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4
Издательство «Современник»

ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ ДНЕВНЫЕ ЗВЕЗДЫ